

Ольга
Тогоева



СТРАДАЮЩЕЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ИСТИННАЯ ПРАВДА

Языки
средневекового
правосудия



История и наука Рунета. Страдающее Средневековье

Ольга Тогоева

**Истинная правда. Языки
средневекового правосудия**

«Издательство АСТ»

2022

УДК 75/76(091)
ББК 85.1

Тогоева О. И.

Истинная правда. Языки средневекового правосудия /
О. И. Тогоева — «Издательство АСТ», 2022 — (История и наука
Рунета. Страдающее Средневековье)

ISBN 978-5-17-150644-5

Ольга Тогоева — специалист по истории средневековой Франции, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. В книге «"Истинная правда". Языки средневекового правосудия» на материале архивов Парижского парламента, королевской тюрьмы Шатле, церковных и сеньориальных судов исследуется проблема взаимоотношений судебной власти и простых обывателей во Франции эпохи позднего Средневековья. Каковы особенности поведения и речи обвиняемых в зале суда, их отношение к процессуальному и уголовному праву? Как воспринимают судьи собственную власть? Что они сами знают о праве, судебном процессе и институте обязательного признания? На эти и многие другие вопросы Ольга Тогоева отвечает, рассматривая также и судебные ритуалы — один из важнейших языков средневекового правосудия и способов коммуникации власти с подданными. Особое внимание в книге уделено построению судебного протокола, специфике его формуляра, стиля и лексики. Издание адресовано историкам, юристам, филологам, культурологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся эпохой Средневековья. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 75/76(091)

ББК 85.1

ISBN 978-5-17-150644-5

© Тогоева О. И., 2022

© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Вступление	7
In extremis	15
Глава 1	15
Конец ознакомительного фрагмента.	36



Ольга Тогоева
«Истинная правда». Языки
средневекового правосудия

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF WORLD HISTORY

В оформлении обложки использована миниатюра «Правосудие» из Дигест Юстиниана (Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 1409, 1340–1350 гг.).

Рецензенты:

кандидат исторических наук *П.Ш. Габдрахманов*

доктор исторических наук *О.В. Дмитриева*

Редакционная коллегия серии «Страдающее Средневековье»: *Олег Воскобойников, Андрей Виноградов, Юрий Сапрыкин-мл., Константин Мефтахудинов*



© Тогоева О.И. текст, 2022

© Издательство АСТ, 2022

Вступление

Когда речь заходит о судебной власти эпохи позднего Средневековья, разговор ведется обычно в рамках институциональной истории или истории права. Специалистов в первую очередь интересует процесс складывания, развития и функционирования судебных институтов¹, а также изменения, которые происходили на протяжении конца XIII–XV в. в сфере судопроизводства и которые позволяют говорить о возникновении концепции светского (в частности, королевского) суда в странах Европы².

Данная работа также посвящена средневековому правосудию. Однако суд будет рассматриваться в ней не как государственный институт, но как место встречи представителей власти с ее подданными. Главной таким образом станет проблема *коммуникации*, контакта этих двух сил, их способность говорить друг с другом, обмениваться информацией. Как проходил подобный контакт? Как, на каком языке общались судьи и обвиняемые? Что они хотели сказать друг другу? Какими словами, посредством каких понятий и аналогий, при помощи каких жестов каждый из них пытался убедить окружающих в своей правоте? Эти вопросы представляются мне исследованными менее других в современной историографии, а потому именно они и будут интересовать меня прежде всего.

Проблема коммуникации судебной власти со своими подданными особенно остро, как мне представляется, стояла во Франции XIV–XV вв. С одной стороны, создание Парижского парламента (высшей судебной и апелляционной инстанции страны вплоть до второй половины XV в.) способствовало усилению здесь судебного аппарата. С другой стороны, связи центра с провинциями крайне ослабляла Столетняя война, сводившая практически на нет все попытки наладить судопроизводство в разоренных землях. Однако кроме политических существовали трудности и собственно правового характера.

Вследствие изменений в самой системе судопроизводства и перехода от обвинительной процедуры (*accusatio*, Божий суд) к инквизиционной (*inquisitio*, процедура следствия) расстановка сил кардинально изменилась: на свет явились те, кого называли судьями³. Конечно, они существовали и раньше – но лишь как скромные посредники между Богом (высшим и един-

¹ Литература по этим вопросам поистине необозрима. Приведу названия лишь тех работ, которые имеют отношение к истории средневековой Франции, поскольку меня будет интересовать именно французская система судопроизводства: Guenée B. *Tribunaux et gens de justice dans le baillage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380 – vers 1550)*. P., 1963; Autrand F. *Naissance d'un grand corps d'Etat. Les gens du Parlement de Paris, 1345–1454*. P., 1981; Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes. *Etudes d'histoire comparée* / Ed. par R. Jacob. P., 1996. На русском языке см. прежде всего: Цатурова С.К. *Офицеры власти: Парижский Парламент в первой трети XV в.* М., 2002; Она же. *Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV веков.* М., 2012.

² Boulet-Sautel M. *Aperçus sur le système des preuves dans la France coutumière du Moyen Age* // *La Preuve. Recueils de la Société Jean Bodin*. Bruxelles, 1963–1965. T. 16–19. T. 17. P. 275–325; Bongert Y. *Question et la responsabilité du juge au XIVe siècle d'après la jurisprudence du Parlement* // *L'Hommage à R. Besnier*. P., 1980. P. 23–55; Gauvard C. «De grace especial». *Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age*. P., 1991; Eadem. *Grâce et exécution capitale: les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Age* // *BEC*. 1995. T. 153. P. 275–290; Eadem. *Mémoire du crime, mémoire des peines. Justice et acculturation pénale en France à la fin du Moyen Age* // *Saint-Denis et la royauté. Etudes offertes à Bernard Guenée*. P., 1999. P. 691–710; Eadem. *Discipliner la violence dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles: une affaire d'Etat?* // *Disciplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit* / Hrsg. von G. Jaritz. Wien, 1999. S. 173–204; Krynen J. *L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe – XVe siècles*. P., 1993. P. 252–268.

³ Основные этапы перехода к новой процедуре кратко изложены в: Chiffolleau J. *Dire l'indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle* // *AESC*. 1990. № 2. P. 289–324; Fraher R.M. *IV Lateran's Revolution in Criminal Procedure: the Birth of inquisitio, the End of Ordeals and Innocent III's Vision of Ecclesiastical Politics* // *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler* / A cura di R.J. Castillo Lara. R., 1992. P. 97–111; Théry J. *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XIIe – XIVE s.)* // *La preuve en justice, de l'Antiquité à nos jours* / Sous la dir. de B. Lemesle. Rennes, 2003. P. 119–147; Parent S. *Des procédures illégitimes? Polémiques et contestations juridiques autour des procès contre les rebelles italiens sous Jean XXII* // *Valeurs et justice. Ecart et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Age au XVIIIe siècle* / Sous la dir. de B. Lemesle et M. Nassiet. Rennes, 2011. P. 51–67.

ственным Судией) и людьми. С переходом к инквизиционной процедуре судьи должны были (или, по крайней мере, надеялись) превратиться в главных действующих лиц любого процесса. Эти изменения в сфере права и правосознания происходили во Франции весьма болезненно: даже многие юристы не принимали новой процедуры, называя ее «глупой» (*folle justice*)⁴. В этой ситуации судебным чиновникам было необходимо всеми способами убедить окружающих в своих властных полномочиях, в том, что суд земной – не просто *тоже* суд, но суд *par excellence*.

Речь прежде всего шла об уголовном суде, поскольку в нем противостояние судей и обвиняемых имело особое значение. В гражданских процессах обязательным было наличие третьего действующего лица – истца, что, как мы увидим дальше, далеко не всегда соблюдалось в процессах уголовных. Кроме того, уголовные преступления всегда рассматривались средневековым обществом (как и обществом любой другой эпохи) как наиболее опасные. Следовательно, именно эти процессы давали судьям возможность утвердиться в своей новой роли гарантов мира и спокойствия.

Чтобы донести эту мысль до окружающих, судебная власть использовала самые разные способы. К ним можно отнести, в частности, требование публичности судебных заседаний, на которых зрители могли сами наблюдать за свершением правосудия⁵; введение института обязательного признания обвиняемого, которое также слышали все присутствующие на процессе⁶; тщательно продуманный ритуал наказания, когда виновность того или иного человека, его социальная опасность подчеркивались не только при помощи визуального ряда (позой, одеждой, действиями и жестами), но и при помощи рече-слуховой фиксации – зачитывания вслух состава преступления и приговора⁷. От подданных таким образом требовалось лишь *согласиться* с законностью того или иного принятого решения. Достижение этого согласия и стало основной заботой средневековых судей в изменившихся условиях.

Как отмечал Роже Шартье, авторитет власти в любом обществе зависит от степени доверия, которое испытывают (или не испытывают) окружающие к предлагаемым ею саморепрезентациям⁸. А потому вполне естественно было бы ожидать, что образ, который судебная власть во Франции XIV–XV вв. предъявляла своим подданным, представлял собой нечто, скорее, желаемое, нежели действительное, а потому в большой степени *фиктивное*. Причем выстраивание этого образа оказывалось в первую очередь связано именно с текстами, с языком, которым власть оперировала и вне которого она просто не могла существовать⁹. Соглашались ли обыватели с предлагаемой им репрезентацией? Ответить на этот вопрос сложно. И это также связано с особенностями средневековых правовых текстов, слишком редко предоставляющих нам подобную информацию.

⁴ Beaumanoir Ph. de. Coutumes de Beauvaisis / Ed. par A. Salmon. P., 1899, 1900. 2 vols. § 1585.

⁵ Тогоева О.И. Пытка как состязание: преступник и судья перед лицом толпы (Франция, XIV в.) // Право в средневековом мире / отв. ред. О.И. Варьяш. СПб., 2001. С. 69–76.

⁶ О введении в средневековых судах обязательного признания см. подборку статей в: L'Aveu. Antiquité et Moyen Age / Actes de la table-ronde de l'Ecole française de Rome. Rome, 1986.

⁷ См., например: Bee M. Le spectacle de l'exécution dans la France d'Ancien Regime // AESC. 1983. № 4. P. 843–862; Spierenburg P. The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression from a Preindustrial Metropolis to the European Experience. Cambridge; L., 1984; Gauvard C. Pendre et dépendre à la fin du Moyen Age: les exigences d'un rituel judiciaire // Histoire de la justice. 1991. № 4. P. 5–24; La peine. Recueils de la Société Jean Bodin. Bruxelles, 1991; Moeglin J.-M. Harmiscara-Harmschar-Hachée. Le dossier des rituels d'humiliation et de soumission au Moyen Age // Archivium Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange). 1996. № 54. P. 11–65; Мёглен Ж.-М. «С веревкой на шее, с розгами в руках...». Ритуал публичного покаяния в средневековой Европе // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2006 / под ред. М.А. Бойцова и И.Н. Данилевского. Вып. 8. М., 2007. С. 120–154; Жакоб Р. Когда судьи показывают язык // Там же. С. 193–234.

⁸ Chartier R. Histoire et littérature // Chartier R. Au bord de la falaise. L'histoire entre certitudes entre certitudes et inquiétude. P., 1998. P. 269–287; Шартье Р. Новая культурная история // Homo historicus: К 80-летию Ю.Л. Бессмертного. М., 2003. С. 271–284.

⁹ Baker K.M. Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge, 1990. P. 5, 9.

Наиболее ценны, с этой точки зрения, протоколы конкретных дел, дающие возможность «услышать» голоса не только судей, но и обвиняемых и свидетелей, «увидеть» их в зале суда. Собственно, с попытками французских чиновников в новых правовых условиях наладить диалог с подданными и была связана их особая забота о составлении и хранении судебных документов. Первые робкие попытки их создания относятся к 60-м годам XIII в.¹⁰, однако с течением времени записи становились все более полными и детализированными. Это особенно заметно по регистрам Парижского парламента: если самые первые уголовные дела, содержащиеся здесь¹¹, занимали всего по несколько строк, то к концу XIV в. описание почти любого процесса требовало уже нескольких фолио¹². Предпринимались также попытки обобщения накопленного опыта, и от XIV в. до нас дошли две выборки наиболее интересных (с точки зрения авторов этих сборников) дел: «Признания уголовных преступников и приговоры, вынесенные по их делам»¹³ и «Уголовный регистр Шатле»¹⁴.

Как мне представляется, именно регистр Шатле в большей степени, нежели какие-то иные источники, дает возможность понять, что же происходило в стенах средневекового суда; как вели себя люди, попавшие в столь экстремальные условия; как они защищали себя и пытались противостоять судьям; какие стратегии поведения использовали. Уникальность этого документа на фоне прочих французских судебных регистров эпохи позднего Средневековья заставляет остановиться на истории его создания и изучения подробнее.

* * *

Регистр Шатле был составлен в конце XIV в. секретарем суда по уголовным делам Алом Кашмаре¹⁵. Появление регистра, возможно, ускорили письма Карла VI, направленные 20 мая 1389 г. парижскому прево (главному королевскому судье столицы) с приказом арестовывать убийц, воров, фальшивомонетчиков на территории всей страны, независимо от того, под чью юрисдикцию они попадали, немедленно проводить следствие и выносить приговоры. Таким образом, в регистре оказались описаны 107 образцово-показательных процессов, на которых приговор был вынесен 124 обвиняемым. Естественно, Алом Кашмаре включил в свой сборник далеко не все дела, которые были рассмотрены в Шатле в 1389–1392 гг. Его произведение представляло собой *авторскую* выборку, что обуславливало фрагментарный характер отраженной в нем действительности и в высшей степени индивидуальное ее видение. Исследователи полагают, что регистр создавался как своего рода учебник по судопроизводству, как образец для подражания, и предназначался для рассылки в королевские суды по всей территории Франции¹⁶.

Цель, которую преследовал Алом Кашмаре, можно назвать двоякой. Во-первых, в его сборнике давалось представление о наиболее опасных для королевской власти и общества типах уголовных преступлений (воровстве, так называемых политических преступлениях,

¹⁰ Guilhiermoz P. De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française // NRHDFE. 1889. № 13. P. 21–65.

¹¹ Archives Nationales de la France. Série X – Parlement de Paris. X 2 – Parlement criminel. X 2a – Registres criminels. X 2a 1–X 2a 5 (1314–1350).

¹² X 2a 6–X 2a 9 (1352–1382).

¹³ Сборник дел, рассмотренных в Парижском парламенте: Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319–1350) / Ed. par M. Langlois et Y. Lanhers. P., 1971.

¹⁴ Сборник дел, рассмотренных в суде королевской тюрьмы Шатле в Париже: Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392 / Ed. par H. Duplès-Agier. P., 1861, 1864. 2 vol. (далее везде: RCh, том: страница).

¹⁵ Сведения об авторе регистра Шатле были собраны его издателем А. Дюплес-Ажье: RCh, I: VII–XXIII.

¹⁶ О политическом значении регистра см.: Gauvard C. La criminalité parisienne à la fin du Moyen Age: une criminalité ordinaire? // Villes, bonnes villes, cités et capitals. Mélanges offerts à B. Chevalier. Tours, 1989. P. 361–370; Eadem. La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Age // Le pénal dans tous ses états. Justice, Etats et sociétés en Europe (XIIe – XXe siècles) / Sous le dir. de X. Rousseaux et R. Levy. Bruxelles, 1997. P. 81–112.

избиениях, убийствах, колдовстве, сексуальных преступлениях) и о методах борьбы с ними. Во-вторых, отдельные судебные казусы были призваны проиллюстрировать силу королевского законодательства в самых различных сферах общественной жизни: в борьбе с проституцией, в прекращении частных вооруженных конфликтов, в восстановлении разоренных войной парижских виноградников, etc.¹⁷

Традиция изучения регистра Шатле неразрывно связана с особенностями французской школы истории права, к которой следует отнести и работы некоторых иностранных ученых, в силу своих научных интересов подвергшихся волей или неволей ее сильному влиянию. Она также связана с общими принципами прочтения и использования таких специфических источников по истории Средневековья как документы судебной практики. Приступая к изучению подобных текстов – будь то письма о помиловании (*lettres de rémission*), протоколы заседаний (*procès-verbaux*) или приговоры (*arrêts*) – первое, что всегда отмечали ученые-медиевисты, это их *серийный* характер. К такому восприятию подталкивала сама традиция составления регистров, те функции по кодификации права, которые на них возлагались. Отдельные по сути своей документы понимались как нечто единое, предполагающее изучение *en masse*. Такой подход почти автоматически приводил к тому, что исследователь, иногда сам того не замечая, а чаще всего полностью отдавая себе в этом отчет, оказывался в состоянии выделить лишь нечто более или менее типичное, повторяющееся – то, что всегда лежало на поверхности. Именно так изучались особенности процессов над ведьмами¹⁸, изворотливость составителей писем о помиловании¹⁹ или, к примеру, общая направленность папского судопроизводства²⁰. Подобные макроисследования ни в коем случае нельзя оценивать негативно, они нормальны и закономерны с точки зрения тех задач, которые ставят перед собой их авторы.

Что же касается непосредственно регистра Шатле, то число ученых, обращавшихся к нему в своих работах весьма велико, однако я остановлюсь лишь на двух из них, поскольку только они сделали этот источник основным для своих исследований. Польский историк Бронислав Геремек, первым, по большому счету, введший сборник Алома Кашмаре в современный научный оборот, использовал его для построения собственной теории «маргинальности»²¹. Неверно оценивая регистр как серийный источник (а не как авторскую выборку), он сделал упор на его типичности и провел знак равенства между средневековым миром преступности и низами общества, между правонарушителями и маргиналами. Столь общая постановка проблемы не позволила Б. Геремеку выделить такое очевидное направление исследования, как анализ социального происхождения *каждого из героев* Алома Кашмаре, что могло бы навести его на диаметрально противоположные выводы.

Французская исследовательница Клод Говар, обратившаяся к регистру Шатле через 15 лет после выхода в свет «Маргиналов»²², совершенно справедливо критиковала их автора за ошибочную оценку характера данного источника. Однако в том, что касается социальной истории, она недалеко ушла от своего польского коллеги. Основной упор К. Говар сделала на рассмотрении средневекового правосознания через понятие «оскорбленного достоинства» (*honneur blessé*) и приходила к выводу, что подобное понимание преступления было характерно абсолютно для всех социальных слоев общества того времени. Столь обобщенное видение исторических процессов также неизбежно смещало акцент исследования в сторону типичного:

¹⁷ Подробнее см. ниже: Глава 8. «Выбор Соломона».

¹⁸ Soman A. Sorcellerie et justice criminelle: le Parlement de Paris (XVIe – XVIIIe siècles). L., 1992.

¹⁹ Davis N.Z. Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIe siècle. P., 1988; Gauvard C. «De grace especial».

²⁰ Chiffolleau J. Les justices du Pape. Delinquance et criminalité dans la region d'Avignon au XIVe siècle. P., 1984.

²¹ Geremek Br. Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles. P., 1991 (1976).

²² Gauvard C. «De grace especial».

типичных стычек, ссор, ранений, убийств – и, как ответ на них, типичных наказаний с раз и навсегда определенным ритуалом, восстанавливающим честь и достоинство потерпевшего.

Важным компонентом исследовательского инструментария обоих ученых являлись количественные методы анализа. В изображении Б. Геремека и К. Говар средневековое общество рисовалось строго ранжированным на отдельные группки, поделенные по степени отношения (выраженного в количественном и процентном отношении) к событиям, фактам и явлениям, отобранным авторами. Для мыслей и чувств отдельных индивидов в этой стройной и строгой системе оставалось мало места, впрочем, их анализ и не предполагался самой постановкой проблемы. Конкретные же люди представляли собой лишь часть целого: если существовал один, следовательно, имелись и многие другие – точно такие же. Личность человека описывалась в исследованиях этих авторов только как *объект* отношений, но не как *субъект*. В таком подходе чувствовалась осмысленная на новом уровне исторического знания и на новых типах источников методология неполной дискурсивности Мишеля Фуко.

Для Фуко человек и его тело также всегда оставались объектными. Это было тело/объект, в терминологии Валерия Подороги: «Живое тело существует до того момента, пока в действие не вступает объективирующий дискурс, т. е. набор необходимых высказываний, устанавливающих правила ограниченного существования тела»²³. В своих многочисленных работах Мишель Фуко рассматривал разные типы тел/объектов: «тела психиатризованные, тела любви, подвергшиеся наказанию и заключению, тела послушные, бунтующие, проклятые...»²⁴. Объективирующий эти тела дискурс мог быть самого разного происхождения, но его целью оставалось всегда одно и то же – превращение человеческого тела в машину, «не имеющую собственного языка», полностью находящуюся во власти языка, подавляющего ее²⁵.

Наиболее показателен в этом плане небольшой сборник статей М. Фуко и его коллег, посвященный уголовному процессу начала XIX в. над неким Пьером Ривьером, убившим своих мать, сестру и брата²⁶. Для Фуко обвиняемый представлял собой «мифическое чудовище, которое невозможно определить словами, потому что оно чуждо любому утвержденному порядку». Процесс над Ривьером, с точки зрения М. Фуко, возможно было описать исключительно с помощью двух взаимосвязанных дискурсов: языка права и языка психиатрии, т. е. в конечном итоге с позиции власти, но никак не с позиции самого обвиняемого, поскольку тело/объект, с его точки зрения, не существовало без внешнего ему субъекта/наблюдателя. Личность преступника, таким образом, полностью исчезала из повествования, ибо высказывания этого человека, его собственное видение происходящего Мишелем Фуко сознательно не рассматривались. Он, собственно, даже не ставил вопрос, зачем судьям понадобилась объяснительная записка Пьера Ривьера о мотивах совершенного им преступления: Фуко и его коллеги поясняли свою позицию тем, что подобный анализ мог бы считаться «насилием» над текстом. Но, сбрасывая со счетов главное действующее лицо процесса, не учитывая особенности его мировосприятия, они совершали еще большее насилие – насилие над исторической действительностью.

* * *

От подобной оценки судебного процесса, когда дискурс обвиняемого включался в дискурс обвинителя и тем самым уничтожался, предостерегал в свое время Ролан Барт. В эссе

²³ Подорога В. Феноменология тела. М., 1995. С. 21.

²⁴ Там же. С. 23.

²⁵ Там же. С. 22.

²⁶ Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Un cas de parricide au XIXe siècle, édité et présenté par M. Foucault. P., 1973.

с характерным названием «Доминиси, или Торжество литературы» он обращался к проблеме несводимости двух дискурсов к единому знаменателю: «Чтобы перенестись в мир обвиняемого, Юстиция пользуется особым опосредующим мифом, имеющим широкое хождение в официальном обиходе, – мифом о *прозрачности и всеобщности языка*... И такой “общечеловеческий” язык безупречно сопрягается с психологией господ; она позволяет ему всякий раз рассматривать другого человека как объект, одновременно описывая его и осуждая. Это психология прилагательных, которая умеет лишь присваивать своим жертвам определения и не может помыслить себе поступок, не подогнав его под ту или иную категорию виновности. Категории эти – хвастливость, вспыльчивость, эгоизм, хитрость, распутство, жестокость; любой человек существует лишь в ряду “характеров”, отличающих его как члена общества... Такая утилитарная психология выносит за скобки все состояния, переживаемые сознанием, и притязает при этом объяснять поступки человека некоторой исходной данностью его внутреннего мира; она постулирует “душу” – судит человека как “сознание”, но прежде ничтоже сумняшеся описывает его как объект»²⁷.

Идея мышления как речи, когда знаковым материалом психики по существу является слово, не раз возникала в истории как оправдание и обоснование духовных функций власти. В средневековом суде этот принцип также получил свое развитие. Признание обвиняемого было потому так важно для судей, что иной вне-словесной реальности они себе не представляли. Их в меньшей степени заботило (если заботило вообще), лжет ли обвиняемый, оговаривает ли он себя, не в силах терпеть боль от пыток, поскольку этот подход требовал учета каких-то дополнительных неизвестных, вне словесных факторов: мыслей, чувств, поступков – самой человеческой личности.

Вслед за средневековыми судьями Мишель Фуко также отказывал обвиняемому в собственном языке. По тому же пути пошли и исследователи регистра Шатле. Бронислав Геремек и Клод Говар выстроили на его основании грандиозные социальные теории, но конкретные человеческие судьбы не интересовали их вовсе.

Характерно, что с критикой такого понимания судебного источника, особенностей и возможностей его языка первым, возможно, выступил не французский, а итальянский историк – Карло Гинзбург. Именно он отметил главную особенность исследований М. Фуко, которого прежде всего интересовали «гонение и его причины – сами гонимые много меньше»²⁸. Во введении к работе «Сыр и черви» Гинзбург сформулировал принципиально новое видение проблемы, исходя из признания разного характера дискурсов обвиняемого и обвинителя: «Между вопросами обвинителей и ответами обвиняемых все время наблюдалась какая-то *нестыковка*, которую никак нельзя было объяснить ни обстоятельствами дознания, ни даже пыткой: и именно через эту трещину открывался подход к глубинному слою ничем не потревоженных народных верований»²⁹.

В этих «нестыковках» или «выпадениях» из официально принятого дискурса и следует, как мне представляется, искать выражение единичной личности, особенности ее мировосприятия. Именно этот «зазор» между двумя типами дискурса позволяет сделать реальностью анализ переживаний, внутренних мотиваций и представлений средневековых преступников. Сложность подобного исследования заключается лишь в том, чтобы этот «зазор», безусловно, присутствующий в устной речи, остался заметным, прочитываемым в письменном тексте, который оказывается вторичным по отношению к речи источником. Анализируя судебный документ, чаще всего мы сталкиваемся с ситуацией, которую Жак Деррида описывал как насилие письма над речью.

²⁷ Барт Р. Доминиси, или Торжество литературы // Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 94–97, здесь с. 96.

²⁸ Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000. С. 37.

²⁹ Там же. С. 40.

Естественно, что в такой ситуации важнейшим фактором, позволяющим в принципе поставить проблему изучения внутренних переживаний человека в суде, является источник. Не всякие материалы судебной практики, будучи изначально достаточно формализованными, позволяют провести подобное исследование. Не всякий документ, составленный клерком, сохраняет в записи хотя бы следы индивидуальности того или иного обвиняемого, особенности его речи, последовательность высказанных мыслей – т. е. следы некоей «субъективности», которая сознательно подавлялась в суде.

Однако если понимать под микроисторией изучение отдельного индивида, исследование пределов его свободы в выражении собственных мыслей и чувств (в том числе в ситуации тюремного заключения), то регистр Шатле способен предоставить нам поистине уникальный материал. Замысел его автора, на мой взгляд, не сводился лишь к констатации нормы, т. е. того, как должен развиваться процесс в соответствии с устоявшимися правилами. Создавая образцовый регистр, Алом Кашмаре одновременно стремился предупредить все возможные *нестандартные* ситуации, возникавшие в зале суда. Исключительность того или иного уголовного дела, рассмотренного в Шатле, могла проявляться и в составе преступления, и в особенностях процедуры и наказания. Но весьма важен и тот факт, что в ряде случаев Кашмаре связывал нестандартность ситуации с поведением и речью обвиняемых.

Эта особенность позиции секретаря королевского суда предоставляет исследователю возможность проникнуть во внутренний мир средневекового преступника, изучить его собственное видение тюрьмы и суда, его представления об одиночестве, о физической и душевной боли, о теле и душе и о возможностях спасения. Не отказываясь от попытки представить себе всю полноту картины – мир средневековой преступности, – мы можем подойти к решению этой задачи с позиций малого масштаба исследования – через рассмотрение отдельной личности, ее индивидуального мировосприятия, ее мыслей и чувств, системы ценностей и особенностей поведения.

Конечно, такое исследование должно учитывать массу привходящих факторов: фрагментарность мыслей и чувств заключенных, отраженных в их признаниях, условия получения этих показаний (в частности, фактор пытки), вторичный характер их записи. Тем не менее, экстремальность ситуации, в которой находились герои Алома Кашмаре, ощущаемая ими близость смерти в какой-то мере даже облегчают поставленную задачу: мы в праве ожидать, что в последние минуты жизни человек вспоминал лишь то, что было по-настоящему значимо для него.

Особенностям поведения и речи обвиняемых в зале суда, их отношению к власти и к праву будет, таким образом, посвящена первая часть данной книги. Однако специфичность такого источника, как регистр Шатле и – шире – средневековых судебных протоколов, способных донести до нас голоса обеих противоборствующих сторон, позволяет продолжить исследование.

Во второй части монографии будет предпринята попытка анализа конкретных уголовных дел – не только их содержательной стороны, но и особенностей построения и стиля отдельных документов, использования их авторами определенной правовой лексики и формуляра. Как в этих делах – еще на уровне *текста*, письменной речи – отражалось желание средневековых судей быть главными на процессе, обладать властью над обвиняемым, олицетворять эту власть, утверждать свои полномочия и демонстрировать их окружающим – таковы вопросы, на которые я попытаюсь здесь ответить.

Наконец, в третьей части книги речь пойдет о судебном ритуале – как об одном из языков средневекового правосудия, одном из самых верных способов коммуникации власти с ее подданными. В мою задачу, однако, не входило изучение всей системы судопроизводства с точки зрения ее ритуализированности: количество работ, посвященных данной проблематике, и так

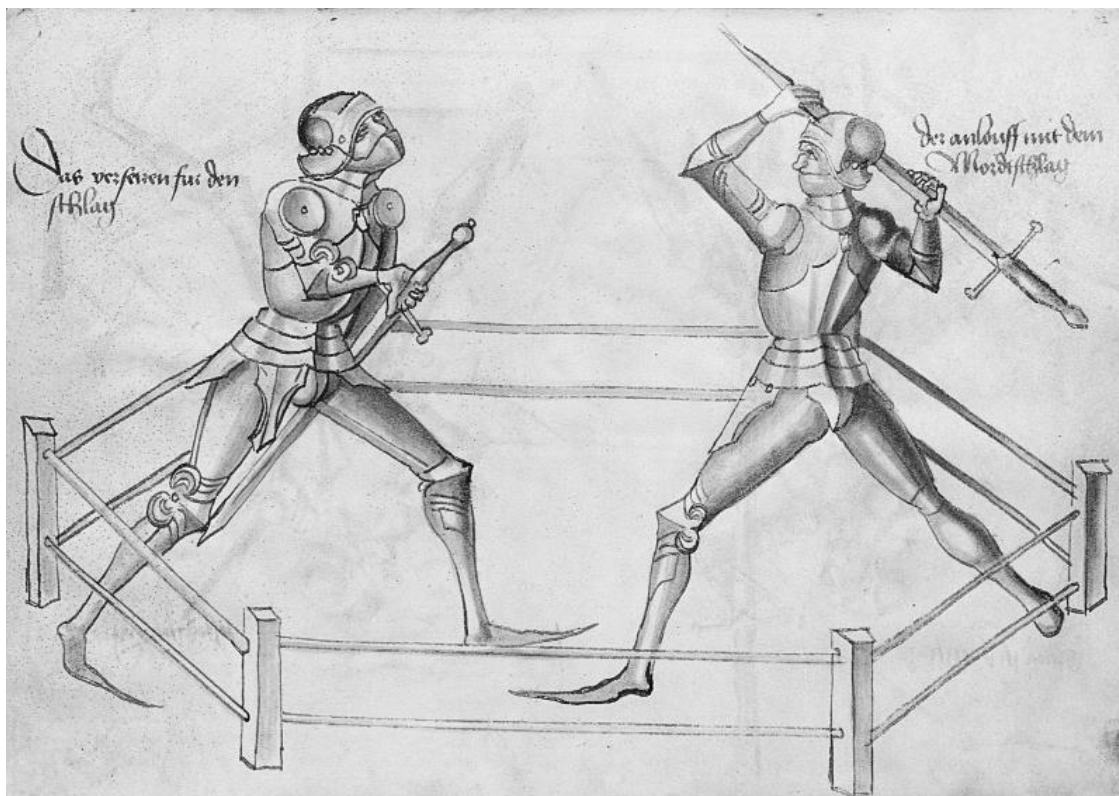
весьма велико³⁰. А потому внимание будет уделено ритуалам, менее других исследованным в специальной литературе, но дающим весьма специфическое представление о средневековой судебной власти. Являющим собой, скорее, исключения из правил – т. е. те самые ситуации, которые будут находиться в центре моего внимания прежде всего.

* * *

Первое издание этой книги вышло в теперь уже далеком 2006 г. Для повторной публикации я сочла необходимым не просто отредактировать, но кое-где и существенно обновить весь текст, а также снабдить его более современными примечаниями, в том числе – библиографическими. Что же касается основного содержания монографии, то в целом оно практически не изменилось. Я по-прежнему полагаю, что микроисторический подход к судебным документам столь же полезен и важен, как и их серийный анализ. Я все так же уважительно отношусь к междисциплинарным исследованиям и использую в своей работе данные литературоведения, филологии, философии, искусствоведения и прочих гуманитарных наук. Наконец, я продолжаю заниматься историей средневекового права и правосознания – сюжетами, к которым я обратилась еще в студенческие годы и которые остаются для меня самыми интересными и поныне. А потому я искренне благодарна издательству АСТ за предложение переиздать мою монографию в серии «Страдающее Средневековье». Надеюсь, что она будет полезна не только профессиональным историкам или студентам, мечтающим связать свою жизнь с медиэвистикой, но и читателям, любящим хорошие книжки и интересующимся нашим общим прошлым.

³⁰ См., например: Cohen E. *The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France*. N.Y., 1993; *Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Age* / Sous la dir. de C. Gauvard et R. Jacob. P., 2000; Morel B. *Une iconographie de la répression judiciaire. Le châtement dans l'enluminure en France du XIIIe au XVe siècle*. P., 2007.

In extremis



Глава 1 В ожидании смерти. Молчание и речь средневековых преступников в суде

Двадцать четвертого марта 1391 г. Жирар де Сансер, человек без определенных занятий, любовался торжественным кортежем, проезжавшим по улицам Парижа. Кареты принадлежали королеве Франции Изабелле Баварской, Валентине Висконти, герцогине Туреньской и будущей герцогине Орлеанской, а также мадемуазель д'Аркур³¹. Жирар, увязавшийся за экипажами, показался королевским слугам весьма подозрительным типом. Они попытались его прогнать, но он не уходил. Тогда они применили силу, призвав на помощь сержанта квартала, чтобы тот арестовал наглеца. «Увидев это, [Жирар] громко закричал, [прося] во имя Бога не сажать его в Шатле, ибо если он там окажется, он умрет»³². Предчувствия несчастного оправдались: обвиненный в воровстве и признавшийся под пыткой в преступлении, он был повешен на следующий же день.

Дело Жирара де Сансера (как и 123 подобных ему) дошло до нас, благодаря единственному сохранившемуся уголовному регистру королевской тюрьмы Шатле, составленному секретарем суда Аломом Кашмаре в 1389–1392 гг. О характере этого документа и о причинах, подтолкнувших Кашмаре к его созданию, я уже упоминала выше. Говоря коротко, *Registre du*

³¹ Подробнее об этом событии см.: Тогоева О.И. «Черная легенда» о Валентине Висконти в политической культуре Франции рубежа XIV–XV веков // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2022. № 4. С. 11–31.

³² «... en ce faisant, avoit crié à haulte voix que pour Dieu il ne feust pas mené prisonnier ou Chastelet, et que s'il y estoit menez, il seroit mort» (RCh, II: 457; здесь и далее курсив мой. – О.Т.).

Châtelet должен был стать образцовым сборником, своеобразным учебником по уголовному судопроизводству конца XIV в. Однако замысел автора не сводился лишь к констатации нормы, т. е. того, как должен был развиваться уголовный процесс в соответствии с устоявшимися правилами. Создавая образцовый регистр, Кашмаре одновременно стремился предупредить все возможные *нестандартные* ситуации, возникавшие в зале суда. Исключительность того или иного процесса могла проявляться и в составе преступления, и в особенностях процедуры и наказания. Однако для нас важнее всего тот факт, что через анализ таких ситуаций удастся хоть отчасти раскрыть внутренний мир подсудимых, поскольку в ряде случаев Алом Кашмаре определенно связывал нестандартность того или иного дела с *поведением и речью* обвиняемых в суде.

У нас может возникнуть закономерный вопрос: а как, собственно, определялись норма и отклонение от нее в поведении преступника в средневековом суде? Думается, что в какой-то степени сама процедура подсказывала обвиняемым правила «примерного» поведения. Одним из них и, пожалуй, самым главным было признание своей вины: добровольно ли, после одной, двух или трех пыток. Даже отсутствие признательных показаний в конечном итоге не смущало судей, внося в монотонный процесс судопроизводства некоторое разнообразие и не выходя при этом за пределы допустимого. Где граница между этим «нормальным», нормированным поведением основной массы обвиняемых и «ненормальными», с точки зрения судей, вызывающими стратегиями поведения отдельных заключенных – вот вопрос, интересовавший Кашмаре и интересующий нас в неменьшей степени, чем тонкости судопроизводства. Как мне представляется, такое выявление спектра возможностей индивида в данной сфере важно, в первую очередь, потому, что наши знания о суде и правосознании эпохи позднего Средневековья и по сей день остаются весьма ограниченными и отличаются в большой степени стереотипностью суждений. Эти последние сводятся в целом либо к домыслам о тотальной жестокости средневекового суда, либо к традиционным работам, направленным на выявление типичного – то есть той самой нормы, от которой в любую эпоху случаются отклонения, не в последнюю очередь связанные с личностью того или иного конкретного человека, с его жизненными принципами, чувствами, эмоциями и сиюминутными настроениями.

Другой подсказкой при выявлении нестандартной ситуации, безусловно, служит сама манера записи дел в регистре. Основным принципом отбора казусов здесь, как мне представляется, становилось личное впечатление автора, его удивление или даже возмущение при рассмотрении того или иного случая. У нас есть редкая возможность сравнить сборник Алома Кашмаре с близкой ему по типу выборкой дел, рассмотренных в Парижском парламенте в 1319–1350 гг. Парламентский регистр являл собой первую попытку систематизации практических знаний об инквизиционной процедуре (процедуре следствия), основанную на реальных прецедентах. Его авторы – Этьен де Гиен и Жоффруа де Маликорн – назвали свое творение «Признания уголовных преступников и приговоры, вынесенные по их делам», подчеркнув тем самым важность института признания в новой процедуре³³. Однако именно в записи показаний обвиняемых кроется существенное различие между парламентской выборкой и регистром Шатле.

Со второй половины XIII в. инквизиционная процедура (*inquisitio*) была официально принята в королевских судах Франции. Основным ее отличием стало расширение полномочий судей. Если раньше уголовный процесс мог возбудить только истец, то теперь эту функцию часто выполняли сами чиновники при наличии определенных подозрений в отношении того или иного человека. В ситуации, когда исковое заявление или донос отсутствовали и/или не существовало свидетелей преступления, основным доказательством становилось признание обвиняемого, без которого не могло быть вынесено соответствующее решение. Если преступ-

³³ Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319–1350).

ление относилось к разряду особо тяжких и заслуживало смертной казни, к подозреваемому могли применить пытки³⁴.

Признание рассматривалось судьями как выражение «полной», «истинной» правды (*la plein, la vrai verité*) и было единственным, что интересовало их во всем сказанном преступником. Как представляется, ключевым здесь может стать понятие «экзистенциальной речи», предложенное в свое время Эвой Эстерберг и позволяющее хоть отчасти раскрыть самосознание человека: «...[экзистенциальная речь] полна смысла и имеет последствия... Люди отождествляют себя с тем, что они говорят, и отождествляются со своей речью. Сказанное слово не возьмешь назад, от него не откажешься, его не смягчишь. В экзистенциальной речи люди ставят на карту всю свою будущность и могут буквально погубить ее простой шуткой, сказанной не к месту. Сказанному придается особое значение. В экзистенциальной речи люди проявляют свою сущность и становятся такими, каковы они есть»³⁵.

С точки зрения средневековых судей, именно признание могло считаться проявлением экзистенциальной речи. Так обстояло дело с регистром Парижского парламента, в котором записи дел строились по принципу «вопрос – ответ» и отличались лаконичностью, позволяющей получить, к сожалению, лишь минимум информации о составе преступления и типе наказания. Алом Кашмаре работал совершенно иначе: в его сборнике основное внимание было отдано пространным повествованиям обвиняемых, которые занимали не одну страницу и часто содержали сведения, ни по форме, ни по содержанию не относившиеся к признанию как таковому. В рукописи регистра, состоящей из 284 листов *in folio*³⁶, в каждом деле присутствовали дословные повторы (часто неоднократные) показаний обвиняемых, исключенные, к сожалению, при публикации. Отличие сборника, таким образом, заключалась именно в том, что его автор признавал экзистенциальным, т. е. заслуживающим внимания, *всё*, о чем говорили преступники. Конечно, для него, как для представителя судебной власти, признание имело свое, сугубо правовое значение. Но нестандартное поведение преступника в тюрьме он пытался осмыслить через его речь, справедливо полагая, что в экстремальной ситуации, в последние, возможно, минуты жизни, тот будет говорить только о том, что по-настоящему имеет для него значение и что составляет его сущность.

Не отказываясь от попытки представить себе всю полноту картины – мир средневековой преступности – мы, учитывая особенности составления регистра Шатле, можем подойти к решению этой задачи с позиций микроанализа – через рассмотрение отдельной личности. Естественно, размышления и возможные выводы, основанные на этом материале, ни в коем случае не распространяются на французское или европейское общество конца XIV в. в целом или на тех людей, кто оказался втянутыми в судебный процесс в качестве субъекта права (как истцы, свидетели или любопытные зрители). В данном случае меня будут занимать переживания и стратегии поведения лишь тех, кто нарушал закон. Но с чьей точки зрения они были преступниками?

Проблема социальных различий представляется мне одной из наиболее интересных, однако трудно решаемых на материале сборника Кашмаре. Сложность состоит в том, что для судей Шатле понятие «преступник» раз и навсегда определяло место индивида в социальной иерархии: он был «не нужен обществу» (*inutile au monde*). Принимая во внимание про-

³⁴ Подробнее о правилах проведения инквизиционного процесса см.: Harang F. La torture au Moyen Age. Parlement de Paris, XIVe – XVe siècles. P., 2017; Тогоева О.И. Когда преступник – свинья. «Дурные обычаи» и неписанные правила средневекового правосудия // Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени / отв. ред. П.В. Соколов. М., 2015. С. 403–436 (и указанная в этой статье литература).

³⁵ Эстерберг Э. Молчание как стратегия поведения. Социальное окружение и ментальность в исландских сагах // *Arbor mundi*. 1996. № 4. С. 21–42, здесь с. 27.

³⁶ Archives Nationales de la France. Série Y – Châtelet de Paris. Y 10531 – Registre criminel du Châtelet de Paris (6 septembre 1389 – 18 mai 1392).

исхождение человека (будь то шевалье, крестьянин или городской ремесленник), судьи при рассмотрении его дела исходили только из факта его противозаконной деятельности. Важно, однако, помнить о том, принадлежал ли тот или иной обвиняемый к рецидивистам или же совершил единственное преступление, оставаясь в остальном «нормальным» членом общества. Такая социальная градация присутствует в регистре и имеет особое значение при рассмотрении вопросов, связанных с поведением и переживаниями человека в суде.

Не менее важно при анализе социального состава преступного сообщества учитывать политическую ситуацию, сложившуюся во Франции в конце 80-х гг. XIV в. После возобновления Карлом V Мудрым военных действий в 1369 г. многие территории оказались освобождены от господства англичан, которые к концу 1370-х гг. владели лишь Бордо и частью Гаскони. Перемирие, подписанное в Брюгге в 1375 г., ознаменовало начало 40-летнего периода относительного покоя и стабильности: воюющие стороны получили возможность перевести дух и заняться внутренними проблемами. Однако временное прекращение военных действий имело и другое последствие: сильный отток людей из армии – людей вооруженных, привыкших к острым ощущениям, к опасности и близости смерти, привыкших убивать и жить грабежом. Им нечем было занять себя: мирное ремесло за многие годы непрекращающихся сражений было забыто, дома разрушены, семьи утрачены. Кроме того, с начала XIV в. сменилось не одно поколение тех, кто вообще не знал и не представлял себе иной, невоенной, реальности. Привычный для них образ жизни становился полностью неприемлемым в мирное время. Приспосабливаться они не хотели или не умели, а потому единственным возможным способом существования и выживания для этих бывших слуг становилось создание воровских банд, грабеж и разбой на дорогах и в крупных городах, где проще было затеряться в толпе, не вызывая лишних подозрений. Пестрый социальный состав героев Алома Кашмаре, судьбы многих обвиняемых, чьи процессы описаны в его регистре, – лучшее свидетельство перемен во французском обществе конца XIV в., связанных с новой политической ситуацией в стране.

Несколько слов нужно сказать и об основном месте действия – о тюрьме Шатле, находившейся в непосредственном ведении парижского прево. Судя по ордонансам, в конце XIV в. Шатле была переполнена до такой степени, что тюремщики не знали, куда помещать новых заключенных³⁷. При этом тюремное заключение было платным. Так, только за само помещение в тюрьму обвиняемый должен был заплатить определенную сумму, согласно своему социальному статусу: граф – 10 ливров, шевалье – 20 парижских су, экюйе – 12 денье, еврей – 2 су, а «все прочие» – 8 денье. Дополнительно оплачивались еда и постель. «Прокат» кровати стоил в Шатле в 1425 г. 4 денье. Если заключенный приносил кровать с собой, то платил только за место (2 денье). Такой привилегией пользовались наиболее высокопоставленные преступники, помещавшиеся обычно в соответствующих их социальному статусу отделениях тюрьмы – *Cheynes, Beauvoir, Gloriette, La Mote, La Falle*. На своих кроватях они спали в гордом одиночестве. Что касается прочих, то ордонанс запрещал тюремщикам помещать на одну койку больше 2–3 человек (в помещениях *Boucherie, Griesche*). Заключенный в *Beauvais* спал на соломе за 2 денье, а в *Puis, Gourdain, Berfueil* и *Fosse* платил 1 денье (видимо, за голый пол)³⁸.

Социальное неравенство проявлялось и в питании. По закону преступникам полагались лишь хлеб и вода³⁹, но «благородный человек» имел право на двойную порцию⁴⁰, а по особому разрешению прево – на помощь семьи и друзей. В самом выгодном положении находились те,

³⁷ «[Châtelet] est souventes fois si plain et si garny de prisonniers que l'on ne scet ou les logier seurement ne secrettement et especialment les crimineulx» (Ordonnances des rois de France de la troisième race. P., 1723–1849. 22 vol. T. 8. P. 309, 1398 г., далее: Ord.).

³⁸ Ord. T. 13. P. 101–102 (1425 г.). См. также: «...le clerc du geollier aura de chascun prisonnier 4 deniers et pour chascun rabat 2 deniers» (d'Ableiges J. Grand coutumier de France / Ed. par E. Laboulaye et R. Dareste. P., 1868. P. 184).

³⁹ «...si le geollier est tenu de querir aux prisonniers qui n'ont pas de quoi vivre au moins le pain et l'eau» (Ibid.).

⁴⁰ «...et s'il y a gentilhomme prisonnier oudit Chastellet il doit avoir double mez» (Ord. T. 2. P. 584).

кто был посажен в тюрьму за долги: их содержали кредиторы. Приятное разнообразие в меню вносили лишь пожертвования частных лиц, церковных учреждений и ремесленных корпораций. Они состояли обычно из хлеба, вина и мяса, но происходили только по праздникам⁴¹.

Мужчины и женщины содержались в камерах отдельно. То же правило пытались ввести и в отношении подельников, однако из-за большой скученности это не всегда удавалось. Тюремщикам запрещались любые физические и моральные издевательства над заключенными, тем более что особо опасные преступники находились в карцере (*cachot*) или «каменном мешке» (*oubliette*) или бывали закованы в цепи (за которые сами же и платили)⁴². (Илл.1)

Все источники, содержащие сведения о средневековых тюрьмах, отличается одна любопытная особенность. Мы никогда не встретим в них описания *внутреннего* строения тюрьмы. Даже авторы ордонансов в своем стремлении создать тип образцового учреждения не останавливались на этом вопросе, сразу же переводя повествование в риторический пласт: «... [тюрьма должна быть] приличной и соответствующим образом устроенной, чтобы человек *без угрозы для жизни и здоровья* мог [там] находиться и претерпевать исправление»⁴³. Такое описание тюрьмы роднило его с изображением подземелья в готических романах XIX в., когда неспособность передать особенности внутренних помещений отражала «зависимость дискурсивного от видимого», а стандартные описания обычно ограничивались «топосами страха и отчаяния»⁴⁴.

Именно эту особенность мы наблюдаем прежде всего и в речи средневековых преступников. Восприятие тюрьмы, связанное с топосами «судьбы» и «смерти», оказывалось наиболее типичным для рецидивистов, знакомых с заключением в Шатле не понаслышке. Характерным примером являются показания банды парижских воров под предводительством Жана Ле Брюна, арестованной в сентябре 1389 г. Каждый из них, представ перед прево и его помощниками, объявил себя клириком и потребовал передачи дела в церковный суд, ссылаясь на наличие тонзуры. Когда же выяснилось, что все тонзуры фальшивые, их обладатели дали практически идентичные показания. Так, Жан ла Гро признал, что, по совету товарищей, выбрил тонзуру, «чтобы избежать ареста и наказания в светском суде и чтобы продлить себе жизнь»⁴⁵. Жан Руссо уточнил, что «если бы он был случайно схвачен, он бы пропал»⁴⁶. А Жан де Сен-Омер, поясняя свое желание оказаться не перед светским судом, а в тюрьме парижского официала, заявил, что там «никто еще не умер»⁴⁷.

Члены банды Ле Брюна по своему опыту или по опыту своих «компаньонов» хорошо знали, что представляет собой тюрьма. Избежать заключения значило для них изменить судьбу, обмануть смерть. Вспомним испуганные крики Жирара де Сансера: для него тюрьма также напрямую была связана с *ожиданием смерти*, тем более что и он уже побывал там в свое время.

Важно, однако, отметить, что отношение преступников-рецидивистов к судебной системе формировалось задолго до того, как они попадали в руки правосудия. Например, Жан Руссо позаботился о своей тонзуре за 7 лет, а Жан де Сен-Омер – за 5 лет до ареста. Такая предусмотрительность, безусловно, являлась одной из отличительных черт их профессионализма. Другое дело – реакция «обычного» человека на арест и заключение.

⁴¹ Например, на праздник суконщиков: «... tous les prisonnier du Châtelet de Paris doivent avoir chacun un pain, une quarte de vin et une piece de char» (Ibid.).

⁴² Наиболее полный материал о положении заключенных собран в: Batiffol L. Le Châtelet de Paris vers 1400 // RH. 1896. № 61. P. 225–264; 1896. № 62. P. 225–235; 1897. № 63. P. 42–55, 266–283; Porteau-Bitker A. L'emprisonnement dans le droit laïque au Moyen Age // RHDFE. 1968. № 46. P. 211–245, 389–428.

⁴³ «...convenables et competement aereez ou creature humaine sanz peril de mort ou de mehaing peut estre et souffrir penitence de prison» (Ord. T. 8. P. 309, 1398 г.).

⁴⁴ Ямпольский М. Демон и лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 82.

⁴⁵ «...afin d'eschever la punicion et contrainte d'icelle, et pour alonger sa vie» (RCh, I: 70).

⁴⁶ «...que se d'aucune aventure il estoit prins par la justice laye, qu'il seroit perdu» (RCh, I: 80).

⁴⁷ «...qu'il ne moroit nul prisonnier en la cour dudit official» (RCh, I: 90).

Четвертого января 1389 г. был арестован Флоран де Сен-Ло, бондарь: его схватили в булочной, когда он срезал аграф с пояса посетителя. Прево приказал посадить его в одиночную камеру, а уже на следующий день тюремщик доложил своему начальству, что они с обвиняемым «много о чем говорили, и упомянутый заключенный признался, что у него в Компьене осталась невеста по имени Маргарита и как бы он хотел, как он молит Бога, чтобы она узнала о том положении, в котором он теперь находится, и позаботилась бы о его освобождении»⁴⁸. Иными словами, в данном случае перед нами предстает несколько иное восприятие тюрьмы, нежели у преступников-профессионалов. Внимание на себя обращает тема *одинокчества*, спровоцированная, возможно, помещением Флорана в одиночную камеру, но связанная прежде всего с отрывом от близких – в данном случае, от невесты.

Тем не менее в регистре Шатле мы не встречаем других примеров, где восприятие тюрьмы было бы напрямую связано с топосом разорванных социальных связей и переживалось бы так остро. Преступник-профессионал по определению являлся одиночкой, а потому он, возможно, в меньшей степени страдал от разлуки с родными. В его окружение входили такие же, как он сам «бродяги и разбойники», нищие и проститутки. «Товарищество» (*compagnie*), которое создавали, к примеру, воры, не являлось дружеским союзом. По мнению самих же «компаньонов», это было деловое соглашение, ограниченное во времени, и с конкретными целями⁴⁹. Оказавшись в тюрьме, бывшие «друзжки» не то что не поддерживали друг друга морально, но валили друг на друга всю вину, спасая собственную шкуру. Именно так вели себя члены банды Ле Брюна: каждый из них боролся только за себя. Вот, например, как характеризовал сам Ле Брюн одного из своих прежних сообщников: «...[этот Фонтен] – человек дурной жизни и репутации, бродяга и шулер, посещающий ярмарки и рынки, его никто не видел работающим»⁵⁰. Судьям оставалось лишь воспользоваться ситуацией: «И потому, что этот заключенный (Ле Брюн. – О.Т.) обвинил многих других... было решено отложить его казнь, чтобы он помог их изобличить»⁵¹.

В этой связи особый интерес вызывает образ «клирика», который использовали для маскировки профессиональные воры. У настоящего клирика, по мнению средневековых судей, не могло иметься семьи, он обязан был быть одиночкой, иначе как двоеженец становился преступником. Похоже, того же мнения придерживались и сами обвиняемые. В частности, упоминавшийся выше Жан Руссо замечал по поводу одного своего подельника: «Этот Жервез вовсе не клирик, ведь он женился на проститутке»⁵².

Преступнику-одиночке, не обремененному семьей, проще было пережить тюремное заключение и суд, ибо мысли о родных лишь увеличивали душевные муки человека. Часто именно из-за близких он шел на совершение преступления. Вспомним Флорана де Сен-Ло: он рассказывал судьям, что время от времени Маргарита (его невеста) спрашивала его, когда же состоится их свадьба, «но он всегда ей отвечал, чтобы она подождала, пока они станут немного богаче»⁵³.

Еще показательнее дело Этьена Жоссона, арестованного 10 мая 1392 г. за подделку печатей и подписей двух королевских нотариусов: только так он смог раздобыть некоторую сумму

⁴⁸ «De plusieurs choses ilz orent parlé ensamble, ledit prisonnier leur cogneut et confessa que en ville de Compiengne il avoit une sienne amie nommée Marguerite, laquelle il avoit fiancée, et qu'il pleust à Dieu que elle peust savor l'estat en quoy il estoit afin que elle pourveist sur la delivrance dudit prisonnier» (RCh, I: 204).

⁴⁹ Подробнее о мире средневековых профессиональных воров см.: Тогоева О.И. «Ремесло воровства» (несколько штрихов к портрету средневекового преступника) // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. Т. 2. С. 319–325.

⁵⁰ «...homme de mauvaise vie et renommée, houlhier, homme vacabond, joueur de foulx dez, frequentant foires et marchez, et lequel il ne virent oncques fere aucun labour ne gagner à aucune chose fere» (RCh, I: 102–103).

⁵¹ «...et pour ce que ycellui prisonnier avoit accusez plusieurs personnes... ordonné que, pour ayder à convaincre yceulx prisonniers, l'en sursserroit de fere execucion» (RCh, I: 68).

⁵² «...lequel Gervaise n'est point clerc, parce qu'il a espousé une fille de peché qui est putain publique» (RCh, I: 83).

⁵³ «...mais il lui respondoit tousjours que elle attendist jusques ad ce qu'il feussent un pou plus riches» (RCh, I: 206).

денег, чтобы обеспечить свое многочисленное семейство: «И сказал, что сделал это из-за бедности и необходимости содержать себя, свою жену, детей и дом»⁵⁴. Этьен, в отличие от Флорана, не говорил вслух о чувстве одиночества, однако страх за будущее семьи в отсутствие кормильца в его словах, безусловно, присутствовал.

Попадая в тюрьму, средневековый человек испытывал чувство страха, но выразить его словами способны были единицы, причем выразить по-разному, используя топоры «судьбы», «смерти», «одиночества», «отрыва от близких». Основная же масса заключенных, чьи процессы оказались описаны Аломом Кашмаре, в суде подавленно молчала, раз и навсегда смирившись с собственной участью, не помышляя о каком-либо сопротивлении. Да и мог ли средневековый преступник повлиять на судебный процесс, изменить свою судьбу? Иными словами – каковы были стратегии поведения тех людей, кто все же отваживался постоять за себя?

Здесь снова придется начать с противопоставления преступников-профессионалов и людей более или менее случайных.

Мне представляется плодотворным, опираясь на современные исследования феномена телесности в культуре, именовать стратегии поведения, свойственные средневековым преступникам-профессионалам, системой «двойников». В человеческом обществе, как и в природе, существует закон чистого перевоплощения, определенная склонность выдавать себя за кого-то другого. В некотором смысле этот закон указывает путь обретения собственной идентичности через другого. В такой ситуации «существо необыкновенным образом раскалывается на себя самого и его видимость... существо выдает из себя или получает от другого что-то подобное маске, двойнику, обертке, скинутой с себя шкуре»⁵⁵.

Образ, в котором средневековый человек представал перед судьями, также часто являлся маской Другого, с помощью которой преступник рассчитывал спасти свое собственное «я», скрыв его за неподлинным, фальшивым, придуманным. Уже упоминавшаяся выше уловка с фальшивой тонзурой должна была, по замыслу ее владельца, превратить его в клирика. Эта маска, с точки зрения уголовного, могла спасти его от преследований светского суда, а следовательно, от смерти, поскольку суд церковный в качестве высшей меры наказания для лиц духовного звания использовал не смертную казнь, а пожизненное заключение на хлебе и воде. Точно так же исключались пытки и связанные с ними страдания. Впрочем, такая стратегия светским судьям была прекрасно известна: даже в выборке Алома Кашмаре упоминалось сразу 15 случаев маскировки под клирика. Еще более показательным замечание автора регистра, сделанное по поводу очередного аналогичного казуса: «[Господин прево] доложил вопрос [о таких клириках] на большом королевском совете господам из парламента, и те постановили, что все люди, которые будут называться клириками, для которых будет определен срок доказать подлинность тонзуры и которые не будут уметь читать или не будут знать ни одной буквы, по истечении этого срока будут посланы на пытку, чтобы узнать от них правду о том, являются ли они клириками и получили ли они тонзуру по закону»⁵⁶.

Вместе с тем идентификация себя с клириком не была, как представляется, случайной для средневекового преступника. Возможно, она имела значение, выходящее за рамки простой мимикрии: выше я уже делала предположение о том, насколько привлекательным мог оказаться для подобных людей образ *одинокки*, каким в их представлении был настоящий клирик.

⁵⁴ «...pour la povreté et neccessité qu'il a pour soustenir l'estât de lui, de sa femme, enfans et mesnage» (RCh, II: 488).

⁵⁵ Lacan J. Le Seminaire. Livre XI. Les quatres concepts fondamentaux de la psychanalyse. P., 1990. P. 122 (цит. по: Ямпольский М. Указ. соч. С. 162).

⁵⁶ «...il avoit parlé au grant conseil du roy nostre sire et a aucuns autres de nos seigneurs de la court de parlement, lesquelz lui avoient commandé et ordonné que tous telz gens qui se advoueroient et porteroient pour clers, auquelz temps et terme avoit esté prefix d'enseigner de leurs tiltres de tonsure, et qui ne saroient lire ou cognoistre lettre aucune, et lequel terme seroit expiré, que pour savoir la vérité de leurs bouches s'ilz estoient clers, et avoient eu couronne à juste cause, ou non... ilz feussent mis à question» (RCh, I: 247).

Не менее желанным был и образ «достойного человека» (*homme honnête*), связанный в первую очередь с хорошей, дорогой одеждой. Отношение судей к обвиняемому прежде всего зависело от его внешнего вида. Алом Кашмаре подтверждал это на примере некоего Перрина Алуэ, плотника, арестованного 23 января 1390 г. за кражу из аббатства Нотр-Дам в Суассоне серебряных и позолоченных сосудов. Алуэ не стал отрицать своей вины: казначей аббатства задолжал ему за работу, тогда как Перрин испытывал нужду в деньгах. Разгневанный таким отношением к себе, «по наущению дьявола» (*par temptation de l'ennemi*), он совершил кражу. Несмотря на признание, судьи посчитали обвиняемого «достойным человеком, не нуждающимся в деньгах, поскольку он хорошо и достойно одет»⁵⁷, что позволило им не применять к нему пыток.

Обратная ситуация оказалась отражена в деле Симона Лорпина, арестованного 9 августа 1391 г. по подозрению в краже одежды: двух рубашек, шерстяной ткани и куртки. Симон, естественно, отрицал свою вину. Однако судьи были иного мнения: учитывая показания свидетелей, которые видели обвиняемого накануне предполагаемой кражи «в одном рванье» (*haillon*), а также то, «что куртка ему не подходит и скорее всего является ворованной и что упомянутый заключенный не одет даже в рубашку, а также [учитывая], что он, что [представляется] более правдоподобным, для приезда в Париж, чтобы быть [одетым] более чисто и сухо, надел одну из упомянутых [ворованных] рубашек»⁵⁸, они решили послать его на пытку.

Понимание того, насколько важна хорошая одежда для человека, выразил и уже знакомый нам главарь банды парижских воров Жан Ле Брюн. На момент ареста ему было около 30 лет, и, в отличие от своих поделщиков, он успел многое повидать в жизни. По его собственным словам, в детстве он обучался на кузнеца в течение восьми лет и даже собирался заниматься этим ремеслом в Руане, но случайно встретил там некоего Жака Бастарда, экойе, который предложил Ле Брюну поступить к нему на службу в качестве слуги и отправиться вместе на войну. Так Жан вместе со своим новым хозяином оказался на стороне англичан и шесть лет разъезжал по всему Французскому королевству, занимаясь грабежами. Однако по истечении этого срока ему показалось, что Жак Бастард слишком мало ему платит, и он, без всякого разрешения оставив службу, отправился попытать счастья в Париж. Здесь Ле Брюн «продал лошадь, оделся во все новое и солидное и в таком виде прожил долго, ничем не занимаясь и не работая»⁵⁹.

Любопытно, что необходимость хорошо выглядеть Ле Брюн связывал с приездом в столицу (ту же ассоциацию мы наблюдаем и в деле Симона Лорпина). Пообносившись и спустив за полгода все деньги «за игрой в трик-трак, в таверне и у проституток», он начал промышлять воровством, используя выручку для поддержания прежнего образа «человека со средствами». В уста своего бывшего сообщника он вложил следующую фразу: «Бородач сказал ему, что предпочтет умереть на виселице, чем приехать в Париж столь дурно, как он, одетым»⁶⁰. Слова эти были произнесены в тот момент, когда сообщники решали, как убить случайно встреченного ими человека – «хорошо одетого нормандца»⁶¹.

Стремление преступников выглядеть «достойно» станет для нас понятнее, если мы вспомним королевское законодательство того времени, направленное на изгнание из городов

⁵⁷ «...veu l'estat d'iceli prisonnier, qui est homme honneste, non indigent d'argent, parce qu'il est bien vestu et honnestement» (RCh, II: 28).

⁵⁸ «...ce aussi que ledit mantel n'est aucunement habile de façon sur le corps dudit prisonnier, mais semble que ce soit un habit emprunté et que icellui prisonnier n'a aucune chemise vestue, et plus vraisemblable que pour venir à Paris, afin d'estre plus seichement et nettement, qu'il eust vestu une desdites chemises» (Ibid.).

⁵⁹ «...auquel lieu de Paris il vendi son dit cheval, se vesti de neuf bien et honnestement, et, en cest estat, se tint long temps sanz rien fere ou ouvrer» (RCh, I: 60–61).

⁶⁰ «Beaubarbier li a dit qu'il ameroit mieulx estre pendus qu'il venist à Paris ainsi mal vestus qu'il estoit» (RCh, I: 62).

⁶¹ «...le normant si bien vestu qu'il estoit» (Ibid.).

(прежде всего, из Парижа) бродяг и отъявленных бездельников, которых власти, без особого, правда, успеха, пытались привлечь к сельскохозяйственным работам⁶². «Многие люди, способные заработать на жизнь самостоятельно, из-за лени, небрежности и дурного нрава становятся бродягами, нищими и попрошайками в Париже, в церквях и других местах», – отмечалось в 1399 г. в документах Шатле⁶³. Постановление Парижского парламента от 1473 г. свидетельствовало, что и через сто лет проблема оставалась нерешенной: «Чтобы противостоять воровству и поджогам, шулерству и грабёжам, которые постоянно происходят в Париже как среди белого дня, так и ночью, [следует знать] многочисленных парижских бродяг, одни из них неразличимы, некоторые притворяются чиновниками, [например,] сержантами, а другие одеты в многочисленные и богатые одежды, носят шпаги и большие ножи, что не соответствует никакому званию или благонамеренному образу жизни»⁶⁴. В регистре Шатле, составленном в конце XIV в., еще не прослеживалось такое тонкое понимание ситуации: Жан Ле Брюн был полностью уверен, что одежда в состоянии защитить его от посягательств судебной власти и, в частности, от пыток (что на самом деле подтверждалось материалами процесса Перрина Алуэ).

И все же, если уловка с изменением внешности (будь то маскировка под клирика или под *honnnête homme*) не срабатывала, преступники полностью утрачивали способность к сопротивлению. Психологическая незащищенность (потеря своего тщательно выстроенного образа) трансформировалась в незащищенность физическую. Мы наблюдаем это в случае с бандой Ле Брюна: все семь ее членов, побывав на пытках, сразу же признались в совершенных преступлениях. Что касается самого главаря, то его даже не пришлось пытать, он «добровольно и без всякого сопротивления» (*de sa volenté et sanz aucune contrainte de gehine*) рассказал обо всех своих похождениях. Как представляется, лишение Жана Ле Брюна его привычного образа сыграло здесь особую роль.

Одежда никогда не была лишь средством защиты от непогоды и холода. Как уже отмечалось выше, в Средние века она также являлась знаком определенной социальной принадлежности, отражала моральный облик своего обладателя, создавала его репутацию. Вспомним, к примеру, как описывал Жанну д'Арк Парижский горожанин. Он крайне негативно оценивал ее мужской костюм и прическу. Но когда во время казни «платье ее сгорело, и огонь распространился вокруг, все увидели ее голой, со всеми женскими отличиями, какие и должны быть, чтобы отбросить людские сомнения»⁶⁵, справедливость была восстановлена.

Одежда воспринималась как нечто неотделимое от человека, как часть его «я», практически как вторая кожа. Если в признании уголовного преступника проскальзывало описание внешности сообщника, чаще всего внимание обращалось именно на костюм, который, по видимому, обновлялся достаточно редко, что давало судьям возможность разыскать человека по этим приметам. Иногда такое описание изобиловало деталями: «И сказал, что это довольно крупный мужчина, лет сорока, с круглым лицом, весьма жирненький и невысокого роста, с носом-картошкой, [что] он хорошо говорит по-французски и одет в старый плащ коричневого цвета и старые штаны, и на этих плаще и штанах полно разноцветных заплаток»⁶⁶.

⁶² О законодательстве против бродяжничества см. подробнее: Geremek Br. Op. cit. P. 31–42.

⁶³ «Plusieurs personnes aians puissance de gagner leurs vies à la peine de leurs corps par paresse, negligence et mauvaisetie se rendent oyseulx, mendiens et querans leur vies aval la ville de Paris, tant en églises comme ailleurs» (Livre rouge vieil du Châtelet, цит. по: Ibid. P. 53).

⁶⁴ «Pour obvier a plusieurs larrcins, pilleries, pipperies et desroberies qui continuellement sont commises en cette ville de Paris tout en plein jour comme de nuict, plusieurs gens oyseux et vagabons estans en cette ville de Paris, les aucuns sans adveu et les autres qui se disent officiers, comme sergens et autres qui sont vestus et habillez de plusieurs robbes et riches habillements portans espees de grands cousteaux, qui ne s'appliquent a aucun estat ou autre bonne maniere de vivre» (цит. по: Ibid. P. 55).

⁶⁵ «...et sa robe tout arse, et puis fut le feu tire arriere, et fut vue de tout le peuple toute nue et tous les secrets qui peuvent etre ou doivent [etre] en femme, pour oter les doutes du peuple» (Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 à 1449 / Texte original et intégral présenté et commenté par C. Beaune. P., 1990. P. 297).

⁶⁶ «...estoit assez grant homme, et de l'aage de XL ans, a un visaige rond, assez crasset et assez court, nez rond, et parloit bon

Процессы одевания, раздевания, переодевания в средневековой культуре отражали изменения, происходившие с самим человеком, его душевные и физические переживания. Все это мы наблюдаем и в отношении людей, предстающих перед уголовным судом. Их восприятие одежды вполне укладывается в рамки «вестиментарной» мифологии Ролана Барта: «...замкнутое покрытие являет собой магический образ... безопасной и безответственной “домашней” огражденности»⁶⁷. Потеря этой огражденности вела к *раскрытию* преступления, столь тщательно скрываемого. Похожую ситуацию описывал С. Эджертон на примере итальянского судопроизводства, сравнивая уголовный процесс со Страшным судом, где «кожа жертвы обозначала ее дурной нрав и грехи. Снимая ее, жертва очищалась и возрождалась, ее лишенное кожи тело символизировало раскрывающуюся правду»⁶⁸. *Насильственное* лишение одежды вызывало у заключенных Шатле сильнейший стресс. Человек чувствовал себя не просто физически голым: формально он уже не принадлежал своей прежней среде, но оставался один на один с судьей, который отныне смотрел на него не через призму социальной иерархии, а воспринимал как обнажившееся зло, которое следует «ограничить и заковать». Наиболее ярко эта ситуация проявлялась на пытке⁶⁹.

Чужое прикосновение к телу обвиняемого превращало человека из *субъекта* отношений в их *объект*. Даже лексика регистра А. Кашмаре свидетельствовала о пассивной роли заключенного: «был приведен», «был спрошен», «был раздет», «...связан», «...привязан». По сути, тело частное, индивидуальное становилось в этот момент публичным, отторгнутым от самого человека и находящимся во власти судьи. Как представляется, именно этот переход являлся для преступника одним из наиболее тяжелых моментов всего процесса. Он как будто лишался собственной индивидуальности – и совершалось это не перед лицом Бога, к чему любой средневековый обыватель готовился всю жизнь, но перед лицом таких же, как он, простых смертных, в чьих полномочиях он вовсе не был уверен. Преобладавшая ранее система доказательств Божьего суда (*accusatio*) подразумевала активные действия самого обвиняемого: только он мог потребовать проведения ордалии и отстоять собственную невиновность⁷⁰. (Илл. 2) В этой ситуации признание не было необходимо для вынесения приговора. Только Господь имел право указать на преступника посредством знаков на его теле (например, следов от раскаленного железа). Как мы знаем, в новом, инквизиционном процессе ситуация была обратной: пытку назначали сами чиновники, и обвиняемый должен был признать лично свою вину. (Илл. 3)

Новое положение судей подчеркивалось не только расширением их непосредственных полномочий. Все чаще они выступали и в качестве истцов, вернее, от их имени, вместо них. Обращает на себя внимание тот факт, что из регистра Шатле о подателях исков мы не узнаем практически ничего: после краткого, весьма формального упоминания в начале дела истец оттеснялся на второй план, исчезал, а его место занимал сам судья. Таким образом, уголовный процесс в изображении Алома Кашмаре выглядел как противостояние двух людей, где первый представлял власть и общество, а второй – то зло, которое угрожало всему социуму и с которым надлежало бороться. Активная роль судей в подобном противостоянии лишней раз подчеркивала пассивную роль обвиняемого как объекта правоотношений. Однако некоторых заключенных Шатле такая ситуация вовсе не устраивала.

françois... et estoit vestu d'un vielz mantel brun et d'une vielle cotte, esquelx mantel et cotte avoit plusieurs pieces de plusieurs et diverses couleurs» (RCh, I: 426).

⁶⁷ Зенкин С. Ролан Барт – теоретик и практик мифологии // Барт Р. Мифологии. С. 34.

⁶⁸ Edgerton S.Y. Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution During the Florentine Renaissance. L., 1985. P. 206.

⁶⁹ Подробнее о противостоянии преступника и судьи в момент пытки см.: Тогоева О.И. Пытка как состязание.

⁷⁰ О правилах проведения ордалии см.: Тогоева О.И. Ордалия // Православная энциклопедия. Т. 53. М., 2019. С. 104–106.

* * *

Девятого сентября 1390 г. перед парижским прево и его советниками предстал Пьер Фурне, по прозвищу Бретонец, экуюе, 28 лет от роду, обвинявшийся в потере королевских писем, с которыми он был послан к герцогу Беррийскому и епископу Пуатье. На первом допросе Фурне показал, что письма были утрачены во время стычки с грабителями в лесу. Выйдя из драки победителем, он обнаружил, что седельные сумки, в которых хранились послания, открыты, а сами документы исчезли, и он «не осмелился вернуться на их поиски из-за страха перед ворами и разбойниками»⁷¹.

О показаниях Фурне сообщили королю, который был лично заинтересован в исходе дела. Его реакция не заставила себя ждать: 17 сентября королевский советник Ле Бег де Виллан сообщил прево: «Мой дорогой друг, король велел мне передать вам... чтобы вы отправили Бретонца на пытку, дабы узнать всю правду о том, в чем он обвиняется»⁷².

Такой поворот дела совершенно деморализовал нашего героя. Претерпев физические истязания, он полностью изменил свои показания: теперь он признавал, что знал о содержании писем, отправленных герцогу Беррийскому. В них король якобы сообщал, что раздумал подерживать кандидатуру епископа Пуатье при назначении архиепископа Санса. Воспользовавшись ситуацией, заявил Фурне, он продал эту информацию прелату за 30 франков золотом.

Однако уже 13 октября обвиняемый вновь изменил свои показания «и сказал, что признание он вынужден сделать под пыткой, куда был отправлен, и из страха, что, если скажет что-то иное, его снова будут пытать»⁷³. После чего Фурне вернулся к своей первой версии о стычке с разбойниками и стал усиленно просить, чтобы его процесс шел в присутствии короля. Тогда следствие обратилось к показаниям свидетелей. Первый из них, Жан де Мутероль, сопровождал Пьера в злополучной поездке. Он рассказал, «что на следующий день после того, как Бретонец оказался в Шатле, он пошел его навестить. И этот Бретонец рассказал ему, как он хорошо помнит, что потерял свои седельные сумки и письма вместе с ними и что их ограбили в лесу около Пуатье. И что если у него (т. е. у свидетеля. – О.Т.) спросят об этом, пусть он именно так и говорит. И он (свидетель. – О.Т.) ответил, что сделал бы это охотно, если бы забыл о своем достоинстве»⁷⁴.

Еще любопытнее оказались показания второго свидетеля – Гийома Бланпена, слуги сеньора Оливье де Мони (кузена Бертрана Дюгеклена). Он рассказал суду, что примерно месяц назад к нему обратилась жена Пьера Фурне с просьбой замолвить словечко за ее мужа перед господином Оливье с тем, чтобы получить королевское письмо о помиловании. Однако король отказал де Мони, ссылаясь на то, что ему уже известно о виновности Бретонца. Бланпен отправился в Шатле и высказал арестованному все свои претензии: «Ты отправил меня к моему господину и другу Оливье де Мони, чтобы он тебе помог получить помилование... и ты причинил ему столько хлопот, поскольку соврал мне. Я думал, что ты говорил правду»⁷⁵. На что Фурне признался, что оговорил себя под пыткой: «Ради Бога, имей ко мне снисхождение, ведь

⁷¹ «...et n'osa retourner pour les querir, pour doubte que il ne feust rencontré des larrons et mauvaises gens» (RCh, I: 518).

⁷² «Très-chier et grant ami, le roy m'a commandé que je vous die de par lui... que vous faciez mettre à question Le Breton, tellement que vous sachiez tout le vray de ce dont il est accusé» (RCh, I: 523).

⁷³ «...icelli confession il fist par force et contrainte de gehine... et pour doubte et paour qu'il avoit que se autre chose congnoissoit... que de rechief il ne feust questionnez» (RCh, I: 530).

⁷⁴ «...auquel par icelli Breton fu dit comment il savoit bien qu'il avoit perdu ses bouges et ses lettres qui dedens étoient, et qu'ilz avoient esté desrobez en un bois vers la ville de Poitiers, et que se aucune chose lui estoit de ce demande, que ainsy il volsist tesmoingnier. Lequel qui parle lui respondi que s'il le pavoit faire sauf son honneur, qu'il le feroit volentiers» (RCh, I: 535).

⁷⁵ «Breton, tu m'as envoyé par devers mons. Olivier de Mouny pour toy aidier à te fere faire grace, et tu as donné tant de peine à mon maistre et amy; car tu as jà dit une autre voye que tu ne m'avoyes pas ditte, et je cuidoye que tu me deisses verité» (RCh, I: 537).

я признался под давлением». Но Бланпен ему не поверил: «Ты врешь, ибо суд не таков, чтобы заставлять кого-то под пыткой говорить что-то иное, кроме правды. Я слышал, что тебя не так уж сильно пытали, как ты говоришь, чтобы сказать неправду»⁷⁶.

Еще один приятель Фурне, Робер Буржуа, также навесил заключенного в Шатле: «И этот Фурне сказал ему, что он все признал под пыткой и что если снова будут его пытаться, он расскажет, что продал и предал все французское королевство, но епископ Пуатье совершенно невиновен... И сказал также, что признание он сделал, чтобы спасти и сохранить свое достоинство»⁷⁷.

Наконец, был допрошен сокамерник Фурне в *Gloriete la haute* наемный рабочий Перрин Машлар, который передал следующие слова нашего героя: «И от этого Бретонца он много раз слышал, что тот предпочтет умереть, нежели снова оказаться на пытке, и что он охотно примет смерть и что епископ Пуатье невиновен». Когда же Машлар спросил Фурне, почему он обвинил епископа, тот ответил, «что боялся, что его будут сильно мучить, и что он видел [в тюрьме] одного человека, которого так сильно пытали, что он умер»⁷⁸.

Судьи, запутавшись в противоречивых показаниях, были вынуждены снова пытаться Фурне и в конце концов осудили его за ложь (*menterie*), а не за потерю писем: «...будет поставлен к позорному столбу, где не будет оглашена причина такого наказания, и там ему проткнут язык, и клеймо [в виде] цветка лилии будет поставлено ему на губы»⁷⁹. (Илл. 4)

Поведение Фурне в суде интересно для нас с разных точек зрения. Первое, на что следует обратить внимание, – его восприятие тюрьмы, неразрывно связанное со страхом перед пытками. Арестованный не испытывал ужаса перед самой тюрьмой: как мы видели, он находился в одном из привилегированных помещений и пользовался достаточной свободой. В какой-то момент его даже временно отпустили домой. Он также не испытывал одиночества: его постоянно навещали друзья, которых он угощал вином на тюремной кухне, о его судьбе хлопотала преданная жена. Однако Фурне был полностью подавлен, страх перед пыткой заставил его даже пуститься на обман правосудия. В чем крылась причина его душевного состояния?

Здесь вспоминается соображение, высказанное в 1404 г. королевским адвокатом Жаном Жувенелем дез Урсеном по поводу правомочности судебного поединка в уголовных делах между представителями знати: «И сказал, что так же, как мы решительно посылаем человека на пытку, соображаясь с обстоятельствами [дела] и своими подозрениями, мы можем разрешить и судебный поединок, поскольку менее опасно сражаться двум равным, чем сражаться на пытке, где тело безоружно и беспомощно»⁸⁰. Именно такая ситуация наблюдалась при рассмотрении дела Бертрана Дюеклена в 1364 г.: иного разрешения спора, нежели поединок, представители знати не желали признавать, несмотря на то что инквизиционная процедура стремилась отказаться от ордалической системы доказательств⁸¹. Пытка таким образом противопоставлялась

⁷⁶ «Ha! pour Dieu, ayes pitié de moy; car je l'ay dit par force de gehine». – «Tu mens; car l'ostel de céans n'est pas tel que l'en fait par force de gehine dire autre chose que verité; et sy ay bien oy dire que tu n'as pas esté sy fort tiré que tu deusses avoir dit chose qui ne feust verité» (RCh, I: 537).

⁷⁷ «...il confessa toutes et par force de gehine, et encore dit ledit Fournet que qui de rechief li vouldroit mettre, il dirait que il avoit vendu et trahy tout le royaume de France... et que le desdit que il avoit fait... ce estoit pour sauver son honneur ou pour la garder» (RCh, I: 539–540).

⁷⁸ «...auquel Breton il a oy dire par plusieurs fois que il aymeroit mieulx que l'en le feist morir que l'en le meist plus en gehine, et que, sur l'ame de lui, se l'en faisoit morir, qu'il prendrait la mort en bon gré... Il avoit paour qu'il ne feust trop tiré, et qu'il avoit veu un qui avoit esté sy fort gehiné qu'il en estoit mort» (RCh, I: 546).

⁷⁹ «...qu'il soit tourné ou pilory, senz faire aucun cry illec de la cause pour laquelle il sera pilorié, et que illec l'en lui perce la langue et soit flatri de une fleur de liz chaude parmy les leffres de la bouche» (RCh, I: 556).

⁸⁰ «Et dit que aussi bien que on met un homme par conjectures et presumpcions vehementer à la question, aussi bien peut on y promettre le gaige de bataille, car c'est moins de soy combatre pareil à pareil que soy combatre à la gehine ou le corps est sanz armes et sanz ce qu'il puisse secourir» (X 2a 14, f. 217v–218, déc. 1404).

⁸¹ Тогоева О.И. Несостоявшийся поединок: Уильям Фелтон против Бертрана Дюеклена // Казус. Индивидуальное и универсальное в истории – 1996 / под. ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова. М., 1997. Вып. 1. С. 199–212. См. также: Narang

судебному поединку, который по-прежнему подтверждал особый социальный и правовой статус благородного человека – статус *субъекта* отношений. (Илл. 5)

На это различие старой и новой процедур, как мне кажется, указывал дез Урсен: причина неприятия пытки представителями знати крылась в понимании того, что тело в этой ситуации остается безоружным, пассивным, подчиненным воле другого человека. Та же ассоциация возникала и у автора *Stylus curie Parlamenti*: по мнению Гийома дю Брея, при отсутствии свидетелей или вещественных доказательств преступления истец мог требовать проведения судебного поединка, на котором «своим телом», при помощи боевого коня и оружия, он доказывал бы свою правоту⁸².

При старой, обвинительной, процедуре представители знати не участвовали в настоящих ордалиях (испытаниях железом, водой и т. д.) и, следовательно, не имели представления о *насильственной* физической боли. Боль от ранения, полученного на поединке, по-видимому, воспринималась совершенно иначе, поскольку была связана с таким важным символом социального положения, как оружие. Тело благородного человека, лишенное меча или копья, становилось голым и действительно оказывалось абсолютно беспомощным, в том числе и на пытке. Как представляется, именно в этом крылась подлинная причина панического ужаса, охватившего Пьера Фурне, ведь пытать его разрешил сам король, следовательно, надежда на проведение судебного поединка была потеряна, ибо такое разрешение мог также дать только монарх.

Бретонец оказался полностью неготовым к пыткам, прежде всего морально. Совершенно так же, как Жана Ле Брюна и его сообщников, молодого экуйе внезапно лишили его собственного (на этот раз невыдуманного) образа, приравнивали к простолюдинам, превратили в *объект* права. И он сам понимал это: признавая лживость своих показаний на пытке, он особо оговаривал, что сделал это, «чтобы спасти и сохранить свое достоинство». Логика этой фразы вполне понятна: я во всем признаюсь → меня не будут больше пытать → мое тело не будет страдать → я верну себе честь и достоинство знатного человека⁸³.

Все дальнейшее поведение Пьера Фурне в тюрьме оказалось связано с душевными переживаниями, в которые трансформировалась и в которых отражалась перенесенная им боль. Выражения «если признает что-то иное, его снова будут пытать», «если будут пытать, расскажет, что продал и предал все французское королевство» представляются вполне характерными для его состояния осмысления физических страданий. Бретонца, таким образом, страшила даже не собственно пытка, а *ожидание* ее. Он описывал своим визитерам не саму боль, а те мысли, которые она провоцировала. Так, осознание лживости собственных признаний, что для человека его положения считалось недопустимым (об этом прямо говорит свидетель Жан де Мутероль), пришла к Фурне уже после допроса и доставила ему дополнительные страдания.

Важно, однако, отметить исключительность казуса Пьера Фурне. Недаром Алом Кашмаре посвятил ему столько страниц своего сборника, недаром ввел в запись показаний прямую речь – явление само по себе экстраординарное для судебного документа, где повествование обычно велось от третьего лица⁸⁴. Таким образом автор регистра Шатле косвенно признавал,

F. Op. cit. P. 37–57.

⁸² «...je di que monseigneur tel ne les pourrait prouver par tesmoings ou autrement souffisanment; mais il les prouvera de son corps contre le sien, par lui ou par son advoué, en champ clos comme gentilhomme, faite retenue de cheval et d'armes et de toutes autres choses necessaires et prouffitables et convenables à gaige de bataille» (Du Breuil G. Stylus curie Parlamenti / Ed. par F. Aubert. P., 1909. P. 108).

⁸³ Ту же ситуацию мы наблюдаем в деле знаменитого Мериго Марше, также происходившего из знатной фамилии. Судьи решили послать его на пытки «один раз», и то только потому, что его преступление (участие в войне на стороне англичан) было направлено против «общественного блага, королевского достоинства и благоденствия королевства» (bien publique, l'honneur du roy et prouffit de son royaume) (RCh, II: 203). Мериго полностью раздели и подготовили к пыткам, но ему удалось избежать мучений, поскольку он сразу начал давать показания. Более судьи к пыткам не прибегали, учтя благородное происхождение Марше и заслуги его семьи перед королем (RCh, II: 205).

⁸⁴ Об особенностях использования прямой речи в судебных регистрах и об опасностях, которые подстерегают исследователя при ее анализе, см. ниже: Глава 4. Судьи и их тексты.

что ему самому трудно осмыслить противоречивые показания этого заключенного, ведь даже для близких людей его поведение казалось странным и непонятным.

Особый же интерес в деле Фурне представляет его отношение к собственной смерти. Он ждал ее как избавления, он мыслил ее *позитивно* (в терминологии Серена Кьеркегора), хотя смерть *другого* его ужасала: Фурне видел, как один человек умер в тюрьме от перенесенных пыток. Восприятие смерти как избавления от физических и душевных мук подводит нас к проблеме соотношения тела и души в понимании средневековых преступников.

* * *

Без сомнения, тело занимало важное место в системе их жизненных ценностей. Для того же Пьера Фурне оно имело непосредственное отношение к восприятию собственного социального статуса и в этом смысле являлось его «местом идентичности». Ту же ситуацию мы наблюдаем и в случае Жана Ле Брюна и его банды: вымышленный образ, с которым они себя идентифицировали, являлся прямым продолжением их самих, их телесности. Разрушение этого образа «двойника» неминуемо вело к разрушению и их собственного тела. Но означает ли это, что проблема соотношения души и тела была для них решена?

Обратим более пристальное внимание на лексику тех признаний, в которых присутствовала попытка осмысления приближающейся смерти. Всего несколько заключенных Шатле обращались к этой теме в своих показаниях, но именно эта исключительность, как представляется, привлекла внимание Алома Кашмаре, ибо «для единичного субъекта мыслить смерть – не что-то общее, но *поступок*»⁸⁵. Признания эти отличались друг от друга как по характеру дискурса, так и по социальной принадлежности их авторов, но они одинаковы в главном – в понимании последних, возможно, слов в этом мире как *исповеди*, как единственной возможности облегчить душу перед смертью.

Первое, что бросается в глаза, – готовность к смерти, осознание ее неизбежности и смирение. Осужденные говорили о наступлении своего последнего часа (*la fin de ses jours*), об ожидании смерти (*la mort qu'il attendoit à avoir et souffrir presentement*), о том, что они заслужили такой конец (*il a bien desservi la mort*) и что смерть – единственный способ искупить преступления (*la mort... en remission et pardon*).

Близость смерти заставляла преступника задуматься о достойной подготовке к «последнему испытанию» (*darrenier tourment*). Смысл этого выражения представляется двояким. В судебных документах под ним обычно подразумевалось непосредственное приведение приговора в исполнение: «и был приведен на свое последнее испытание», «и на своем последнем испытании заявил». Однако постоянные мысли осужденных о спасении (*salut, sauvement*) или вечном проклятии (*dampnement*) души позволяют предположить иную трактовку, увидеть в этом «испытании» указание на последний, Страшный суд. Преступники были уверены, что после смерти, в Раю (*en Paradis*), их души попадут в руки Бога, Пресвятой Богородицы, Святой Троицы и «всех святых Рая» (*tous sains qui sont en Paradis*). Но спасение, по их мнению, в первую очередь зависело от них самих, от их последних слов в этом мире. В ожидании смерти они должны были облегчить душу (*descharger son âme*), очистить ее от совершенных преступлений, дабы «не уносить их с собой» (*que avec soy ne pas emporter les autre crimes*). Таким образом, признание в суде обретало в глазах средневекового преступника характер исповеди, тем более что в некоторых случаях преступление (*crime*) именовалось грехом (*péché*), который не стоило «брать на душу» (*prendre sur l'âme*).

Дело Гийома де Брюка является наиболее ярким примером такого отношения к признанию в суде. Этот молодой экуйе был арестован 24 сентября 1389 г. по иску капитана арбалет-

⁸⁵ Выражение С. Кьеркегора (цит. по: Подорога В. Выражение и смысл: Ландшафтные миры философии. М., 1995. С. 99).

чиков из гарнизона Сант в Пуату Жака Ребутена, экуюе. Де Брюк обвинялся в краже одежды, оружия и двух лошадей. На первом допросе он показал, что является человеком благородного происхождения (*gentilhomme*), хотя и без определенных занятий, и что в последнее время «участвовал в войнах и был на службе у многих достойных людей»⁸⁶. В связи с недостаточностью данных сведений де Брюка послали на пытку, где он признал факт воровства, а также рассказал о других кражах, грабежах и поджогах. Но уже через две недели обвиняемый отказался от своих показаний, заявив, что дал их под давлением. Ему пригрозили новой пыткой, и, испугавшись, он пообещал подтвердить свои прежние слова: «...он вручил свою душу Богу, Пресвятой Богородице и Святой Троице Рая, умоляя их простить его преступления и грехи, и признал и подтвердил...»⁸⁷.

Как предатель короля, Гийом де Брюк был приговорен к отрубанию головы. Когда же его привели на место казни, «просил и умолял, чтобы, во имя Господа, Девы Марии и Святой Троицы Рая, его выслушали и записали [все о тех] грехах, кражах и преступлениях, которые он совершил, т. к. восемь лет назад он стал вести дурной образ жизни, жег и грабил многих добрых сеньоров и торговцев, и поскольку он прекрасно понимает, что пришел его последний день...»⁸⁸. Гийом де Брюк признался еще в 51 краже и поклялся «своей душой и смертью, которую он ждет теперь», что у него не было сообщников и что все преступления он совершил в одиночку.

Сама форма признания *in extremis*, у подножия виселицы или эшафота, не являлась чем-то экстраординарным в судебной практике конца XIV в. Напротив, она не только допускалась, но и приветствовалась судьями, которые могли использовать последние слова осужденного на смерть в качестве обвинения против его прежних сообщников. На место казни преступника сопровождал специальный судебный клерк, в обязанности которого и входила запись возможных признаний: Алом Кашмаре сам часто выступал в этой роли, о чем неоднократно упоминал на страницах своего регистра.

Для нас, однако, более важным является то обстоятельство, что в признаниях *in extremis*, в какой бы форме они ни были высказаны и записаны, чувствуется понимание собственной вины и раскаяние в содеянном, усиливавшееся осознанием близкой смерти. Прямое указание на необходимость исповедаться, проговаривание вслух мотивов, толкнувших человека на преступление, открытое обращение к судье или палачу как к священнику – все это свидетельствовало об очень личном восприятии собственной судьбы⁸⁹.

⁸⁶ «...avoit poursuy et poursuïoit les guerres, et avoit esté ou service et en compaignie de plusieurs gentilshommes» (RCh, I: 16).

⁸⁷ «...il recommenda l'ame de soy à Dieu, à la benoite Vierge Marie et à toute la sainte Trinite de Paradis, en eulx requerant que ses meffaiz, torfaiz et peschez lui vouldissent pardonner» (RCh, I: 22).

⁸⁸ «...supplia et requist, comme puis huit ans ença il eust et ait esté homme de mauvaise vie et gouvernement, pillié et robé plusieurs bon seigneurs et marchans, et qu'il veoit bien qu'il estoit à la fin de ses jours, que en honneur de Dieu, de la Vierge Marie et de toute la benoite et sainte Trinite de Paradis l'on vouldist oir, escouter et escrire les pechez, larrecins et mauvaistiez par lui faits» (RCh, I: 26).

⁸⁹ Стремление исповедоваться перед смертью и обращение с «исповедью» к тюремщику, судье или палачу позволяет предположить, что именно в них преступник в последние минуты жизни хотел видеть близких ему людей. Близость эта, безусловно, имела мало общего с родственными, дружескими или же профессиональными связями. Скорее, здесь следует говорить о близости символической, что, впрочем, не уменьшает значения подобного явления для исследуемой ситуации. В обычной обстановке перед смертью человек желал видеть рядом с собой священника – доверенное лицо, духовника, которому он мог бы исповедоваться в своих грехах. В экстремальной ситуации – в условиях тюрьмы – роль священника мог исполнить судебный чиновник, если у приговоренного к смерти складывались с ним особые отношения. Именно так, по-видимому, следует рассматривать, к примеру, отношения уже известного нам Флорана де Сен-До с его тюремщиком, которому он рассказал историю своей жизни. На добром отношении тюремщиков к заключенным (как хозяина постоянного двора к своим гостям) настаивало и королевское законодательство того времени: Porteau-Bitker A. Op. cit. Не менее интересным представляется вопрос об отношениях преступника и палача – этих двоих также, по всей видимости, связывала особая близость. На это указывает, в частности, сам ритуал смертной казни (прощение, даруемое осужденным своему палачу; обмен поцелуями на месте казни и т. д.). См. об этом подробнее: Gauvard C. Condamner à mort au Moyen Age. Pratiques de la peine capitale en France, XIIIe – XVe siècle. P., 2018. P. 156–160; Тогоева О.И. Казнь в средневековом городе: Зрелище и судебный ритуал // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 2000. Т. 3. С. 353–361. Именно тюремщик и палач выступали символическими наследниками казненного преступника – его личные вещи поступали в их распоряжение.

Важен и тот факт, что Алом Кашмаре уделит этим признаниям-исповедям особое внимание в своем сборнике. В то время, когда составлялся регистр, для приговоренных к смерти не существовало исповеди как таковой; она была запрещена. Уголовный преступник, т. е. человек социально опасный, не мог и не должен был, с точки зрения судей, рассчитывать на спасение души⁹⁰. Исповедь была официально разрешена только в 1397 г.⁹¹, но судьи восприняли ее негативно. Потребовалось какое-то время и усилия французских теологов (прежде всего, Филиппа де Мезьера и Жана Жерсона), чтобы позволить священникам посещать заключенных накануне казни⁹². (Илл. 6)

Сопротивление рядовых чиновников было вполне понятным следствием введения инквизиционной процедуры в королевских судах Франции. Они сами желали исполнять роль Высшего Судьи, выносить окончательный приговор о виновности или невиновности каждого подозреваемого. Восприятие обвиняемого как объекта права проявлялось не только на пытке или допросе, смертная казнь и отказ в погребении превращали преступника в *ничто*. В этих обстоятельствах обязательная исповедь давала надежду на прощение и спасение души, в какой-то мере восстанавливала утраченный обвиняемым статус субъекта отношений, возвращала ему его *личность* в последние мгновения жизни.

В регистре Алома Кашмаре есть любопытное подтверждение этих грядущих изменений в правосознании – признание *in extremis* Жирара Доффиналя, осужденного на смерть за воровство, о котором он откровенно сообщил, что «совершил столько краж, что всех и не упомнит и не сможет перечислить»⁹³. Судьи не сомневались, что перед ними типичный «ненужный обществу» вор-рецидивист. Однако Жирар, приведенный на место казни, заявил следующее: «... независимо от того, что он признал ранее, его зовут не Жирар Доффиналь, а Жирар Эммелар, что он родился в башне Тестер, в одном лье от Марсийака и в трех лье от Родеза. Эта башня перешла ему на правах наследства от отца и матери, и вокруг нее имеется несколько деревень и домов, которые дают небольшой доход и пшеницы до трех сотен сетье, а также много куриц и каплунов. А документы на эту башню находятся в Родезе у мэтра Ремона Пуалларда, представителя Жирара. И сказал, что у него есть брат – монах в Конке»⁹⁴.

В данном случае мы сталкиваемся с уникальной в рамках регистра Шатле ситуацией: в качестве собственного «двойника» человек избрал *другое имя*, скрыв за ним свою личность и, по-видимому, благородное происхождение. Для мира средневековых преступников (к которому, по его собственным словам, принадлежал и Доффиналь) более характерным было использование всевозможных кличек. Чаще всего они происходили из внешности того или иного преступника: Короткорукий, Коротышка, Четырехпалый, Толстяк, Бородач, Одноногий. Физическое уродство, закрепленное прозвищем, указывало на индивидуальность человека, абсолютизировало ее, а не скрывало. Точно так же и имя собственное с XIII в. начало указывать на конкретного индивида, уменьшая риск спутать его с другим: фамилия выступала

⁹⁰ Как не мог он надеяться и на воскрешение из мертвых в день Страшного суда. Именно с этим запретом были связаны, в частности, практика оставления трупа повешенного без захоронения до полного разложения и практика расчленения тела. Таким образом, точка зрения судей расходилась с мнением церкви, которая считала, что человек, даже если его тело было уродливо при жизни, воскреснет из мертвых физически здоровым.

⁹¹ «...super sacramento confessionis dande et administrande condemnatis et judicatis ad mortem» (Ord. T. 8. P 122, 12 февраля 1397 г.).

⁹² Наиболее интересен с этой точки зрения трактат Жана Жерсона 1397 г.: Gerson J. Requête pour les condamnés à mort // Gerson J. Œuvres complètes / Ed. par P. Glorieux. P., 1968. T. 7. P. 341–343.

⁹³ «...il a tant fait de larrecins que il ne lui souvient et ne saurait nombrer» (RCh, I: 252).

⁹⁴ «...nonobstant qu'il avoit confessé qu'il a nom Girart Doffinal, il avoit nom Girart Emmelart, nez en la tour de Tester, à une lieue près de Marcillac, à trois lieues près de Rodes, laquelle tour lui appartenoit par succession de ses père et mère, à laquelle tour a plusieurs villages et maisons qui deivent menus cens et blez jusques à trois cens sextiers ou environ et plusieurs poulies et chapon. Et le tiltre et lettres pour raison d'icelle tour sont audit lieu de Rodes, en l'ostel maistre Remon Poillardes, procureur dudit Girart. Et dit, qu'il a un frère qui est moynes à Conques» (RCh, I: 254).

признаком личности, следовательно, ее изменение вело к сокрытию подлинного «я»⁹⁵. Жирар Доффиналь вспомнил о себе настоящем только перед смертью, и его шаг, без сомнения, можно истолковать как желание вернуть свою индивидуальность в ожидании Последнего суда.

Признания *in extremis* позволяли, по мнению автора регистра Шатле, увидеть эту индивидуальность – и не только в стратегиях поведения, но и в их скрытой мотивировке. Ничего не значащие для судей слова Жирара Доффиналя о его прошлом дают нам возможность предположить, что изменение имени, возможно, было вызвано заботой о брате, желанием оградить его жизнь от влияния собственной дурной репутации. Алома Кашмаре интересовали, таким образом, реальные мотивы поведения, а правду о себе, с его точки зрения, человек способен был рассказать только на исповеди.

Своеобразие позиции секретаря Шатле в этом вопросе становится более понятным, если вспомнить отношение основной массы средневековых юристов к проблеме правдивости признаний, полученных в результате пыток. Сомнения в идентичности понятий «признание» и «правда», в допустимости насилия в суде посещали еще римских правоведов. Однако уже в IV в. (например, в «Кодексе Феодосия») этот сложный вопрос был решен положительно: отныне сведения, полученные от обвиняемых на пытке, официально признавались правдивыми, и никто не имел права их оспорить. Позднее, когда пытка вошла в систему доказательств средневекового суда, вопрос о насильственном характере получения признаний снова оказался в центре внимания. Дискуссия велась с переменным успехом, однако большинство юристов считали физическое насилие вполне законным средством дознания, расходясь лишь в вопросе о масштабах его применения⁹⁶. У Алома Кашмаре, по всей видимости, существовало на сей счет иное мнение. Он проводил четкую границу между признаниями, так сказать, «личными», идущими от сердца, и признаниями вынужденными, полученными насильственным путем. Возможно, что для него были важны и те и другие – но важны по-разному: в первых он видел проявление самой сущности того или иного человека, во вторых – лишь подтверждение совершенного преступления. В искренности первых он не сомневался, в подлинности вторых он, будучи судьей, не имел права усомниться.

Восприятие признания как исповеди дает нам повод задуматься над проблемой соотношения телесного и духовного начал в представлении средневекового человека и смешения правового и религиозного аспектов в правосознании эпохи.

Параллель между инквизиционным процессом и церковной исповедью особенно четко начала обозначаться в первые десятилетия XIII в., после введения в действие 21 канона IV Латеранского собора (1215), настаивавшего на обязательной ежегодной исповеди и на замене ордалий на признание заключенного в качестве основного судебного доказательства⁹⁷. Роль священника в новых условиях оговаривалась в тексте постановления весьма подробно и особо указывалось на ее исключительно врачевательный характер⁹⁸. Грех, в котором нужно было исповедоваться, приравнивался, таким образом, к болезни, а исповедь – к способу исцеления. Священник ассоциировался не просто с врачом, прописывающим лекарство (*remedium*), но с

⁹⁵ Ле Гофф Ж. С небес на землю. Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв. // Одиссей. Человек в истории – 1991. М., 1991. С. 42–43.

⁹⁶ О спорах римских юристов по проблеме правдивости признаний см.: Thomas Y. Confessus pro iudicato. L'aveu civil et l'aveu pénal à Rome // L'Aveu. Antiquité et Moyen Age / Actes de la table-ronde de l'Ecole française de Rome. Rome, 1986. P. 89–117. О дискуссиях средневековых юристов о насилии в суде см. ниже: Глава 8. Выбор Соломона. Только в XVII в. во Франции вновь зародились сомнения о правомочности применения пыток и об их действенности: Тогоева О.И. Каким не должен быть судья: Огюстен Николя и его трактат о недопустимости пыток (1682 г.) // Право в средневековом мире. М., 2010. С. 255–270.

⁹⁷ Consiliorum oecumenicorum decreta / Curantibus J. Alberigo, J.A. Dossetti, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi. Bologna, 1973. P. 230–271.

⁹⁸ Bériou N. La confession dans les écrits théologiques et pastoraux du XIIIe siècle: médication de l'âme ou démarche judiciaire? // L'Aveu. P. 261–282, здесь P. 261.

хирургом, вскрывающим нагноившуюся рану, проводящим кровопускание или вызывающим у больного очистительную рвоту⁹⁹.

Физиологический аспект в восприятии исповеди присутствовал и в сочинениях теологов XIII в. Например, Гийом Овернский подробно описывал внешний вид кающегося: его следовало подвесить «за ноги его желаний», ибо так ему будет легче исторгнуть из себя вместе со рвотой свои грехи. Петр Кантор же считал, что кающийся человек должен явиться перед священником голым, открыв его взору все свои болезни и шрамы¹⁰⁰. Эти картины, как представляется, подходили к описанию судебного процесса даже больше, нежели к описанию церковной исповеди.

Как священник исторгал из кающегося его прегрешения, так и судья должен был добиться признания от обвиняемого. Собственно, «исповедь» и «судебное признание» в старом и среднефранцузском языках обозначались одним словом – *confession*. Добиться этого возможно было при помощи некоего «средства» (*remedium*)¹⁰¹. Исцеление грешника происходило посредством покаяния, тот же термин мы можем встретить и в юридических текстах – например, в королевских ордонансах, где тюремное заключение именуется *pénitence*¹⁰².

Однако для церкви медицинская метафора оказалась не бесконечной. На это еще в начале XIII в. со всей определенностью указывал английский теолог Томас Чобэмский: «... медицина лечит тело, тогда как теология облегчает душу»¹⁰³. Для судей же ответить на вопрос, что именно они собираются «исправить», заключая человека в тюрьму или посылая его на пытки, – тело или душу – оказалось значительно сложнее.

Примером того, насколько запутанными были средневековые правовые представления о теле и душе и об их совместном существовании, может служить дело Жанны де Бриг. Она обвинялась в колдовстве, повлекшем за собой тяжелую болезнь Жана де Рюи, местного землевладельца и королевского прево¹⁰⁴. Довольно скоро, под давлением свидетельских показаний, женщина призналась, что ей помогал дьявол (она называла его *Haussibut*), однако их отношения носили весьма оригинальный, если не сказать анекдотический, характер.

Дело в том, рассказывала Жанна, что у нее имелась некая родственница, которая сама пользовалась услугами Нечистого. И она как-то раз заявила нашей героине: «... чтобы обладать достоинством и достатком в этом мире, поскольку она боится бесчестия и презрения этого мира больше, чем того (загробного. – О.Т.), она отдала этому *Haussibut*, чтобы он помогал ей, свою душу и один из пальцев руки, но это было противно ее душе и ее [вечному] спасению»¹⁰⁵. Родственница всячески убеждала Жанну поступить точно так же, причем важным аргументом

⁹⁹ Ibid. P. 269. Каролин Байнум отмечает в своей обзорной статье, посвященной восприятию тела в Средние века, что местом, где господствовали выделения человеческого организма, местом пищеварения, всяческих изменений, метаморфоз и соков в раннем Средневековье считался ад: Bynum C. Warum das ganze Theater mit dem Körper? Die Sicht einer Mediävistin // Kulturische Anthropologie. 1996. Bd. 1. S. 1–33, здесь S. 24). Ад же, по определению Петра Дамиани, являлся regio gehennalis, т. е. местом пыток, физических мучений: Le Goff J. La naissance du Purgatoire. P., 1981. P. 489–490.

¹⁰⁰ Bériou N. Op. cit. P. 271.

¹⁰¹ Так, например, итальянский юрист и постгlossатор Бальдо дельи Убальди полагал, что при расследовании особо тяжких уголовных преступлений следует применять инквизиционный процесс, который является «экстраординарным средством» (*inquisitio est remedium extraordinarium*): Baldo degli Ubaldi. Consilia. Francfort, 1589. V. IV. Cons. 415. Французский правовед Жак д'Аблеж, напротив, расценивал *inquisitio* как самое обычное средство для «борьбы с грозящей опасностью» (*remedier au futur peril*) и призывал судей активно его применять: d'Ableiges J. Op. cit. P. 625. В регистре Шатле термин *remede* также встречается несколько раз – в значении «средство», «лекарство», «утешение» (RCh, I: 329, 524; II: 128, 294, 317).

¹⁰² «...souffrir penitence de prison» (Ord. T. 8. P. 309, 1398 г.).

¹⁰³ «...in physica naturali per quam curantur corpora et aliter in physica theologica in qua sanantur anime» (цит. по: Bériou N. Op. cit. P. 273).

¹⁰⁴ Подробнее об этой истории см.: Тогоева О.И. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики. М.: СПб., 2018. С. 183–201.

¹⁰⁵ «...afin d'avoir très-grant honeur et prouffit en ce monde, et pour ce que elle craignoit et doubtoit plus la honte et deshonneur de ce monde que celle de l'autre, elle avoit donné audit Haussibut, pour venir en son ayde, son ame et un des doigts de sa main, mais c'estoit grandement contre son arme et le salut d'icelle» (RCh, II: 290).

было то, что ее душу дьявол получит только после смерти (вот только палец пришлось отдать теперь же). Но та категорически отказалась идти на подобные сделки: «...она не отдаст ни свою душу, ни какой-нибудь из своих членов никому, кроме Бога»¹⁰⁶.

Тем временем болезнь наступала на несчастного Жана де Рюи и, поддавшись мольбам его жены, Жанна все-таки призвала к себе *Haussibut*, чтобы узнать способ излечения: «Явившись к ней, он заявил, что она доставила ему массу хлопот и работы, но взамен ничего не дает и не делает ему никакого добра»¹⁰⁷. Подобные переговоры продолжались довольно долго: ведьма вызывала Нечистого, тот выполнял ее просьбы, но всячески укорял за стремление отделаться мелкими подачками типа пригоршни пепла. В конце концов Жанна была арестована и повела в суде эту удивительную историю, которая и станет предметом нашего анализа.

Первое, на что следует обратить внимание, – это проблема сосуществования (раздельного или слитного) души и тела. Немецкий исследователь Вольфганг Шильд, исходя из предположения о наличии в человеке сильного (душа) и слабого (тело) начала, приходил к выводу о раздельном их восприятии в эпоху позднего Средневековья. Важно, что данная теория строилась на судебных материалах и, следовательно, в первую очередь касалась сферы правосознания. Он полагал, что именно душа, в представлении средневековых людей, была ответственна за все их поступки. Ей одной принадлежало право выбора той или иной стратегии поведения – в частности, совершения преступления, которое рассматривалось как сговор с дьяволом, как грех, вина за который ложится на душу¹⁰⁸. Таким образом, только она могла считаться подлинным местоположением «я» средневекового индивида.

Однако, эта теория не находит полного подтверждения на материале регистра Шатле. Как мне представляется, В. Шильд не учитывал всего многообразия представлений о душе и теле, присутствовавшего даже в одних лишь правовых источниках. Его видение этой проблемы совпадало в полной мере только с точкой зрения средневековых судей, которые не знали понятия «презумпция невиновности» и для которых, следовательно, любой человек, попавший к ним в руки, изначально являлся преступником.

Конечно, вину каждого нужно было еще доказать, и в этой ситуации договор с дьяволом становился определенного рода «подсказкой», как для самих судей, так и для преступников. Жак Шиффоло в статье, специально посвященной проблеме «непроизносимого» (*nefandum*), подчеркивал, что сама номинация «дьявол» проникла во французское королевское судопроизводство благодаря влиянию канонического права¹⁰⁹. Попытки судей через речь обвиняемых, через их собственное понимание произошедшего классифицировать тот или иной тип преступления наталкивались поначалу на неспособность людей Средневековья описать словами то, что они чувствовали и мыслили внутри себя. Единственным доступным выходом из этой ситуации было предположение о влиянии на поведение обвиняемых дьявола. Таким образом, «я» человека заменялось в устной речи на «он», на «двойника», навязанного самими судьями: «Исчезновение собственного имени – первый знак “мистического дискурса” одержимых женщин, устами которых говорит демон, их негативный двойник. Инквизиция навязывает “одержимым” номинацию – имя вселившегося в них демона»¹¹⁰.

Подобную ситуацию мы наблюдаем и в деле Жанны де Бриг. Узнав о грозящем ей смертном приговоре, обвиняемая сказалась беременной. Специально приглашенные по такому случаю матроны осмотрели ее и вынесли следующее решение: «...то, что по их словам, было

¹⁰⁶ «...elle ne donroit son arme ne aucuns de ses membres à personne, fors que à Dieu» (RCh, II: 292).

¹⁰⁷ «...lequel, venu à elle qui parle, lui dist que elle lui avoit fait moult de peine et de travail, sanz ce que elle lui donnast aucune chose du sien, ne ne feist aucun bien» (RCh, II: 295).

¹⁰⁸ Schild W. Recht: Mittelalter // Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen / Hrsg. von P. Dinzelsbacher. Stuttgart, 1993. S. 513–534.

¹⁰⁹ Chiffolleau J. Op. cit.

¹¹⁰ Ямпольский М. Указ. соч. С. 112.

ребенком, [на самом деле] является дурными духами, собравшимися в ее теле, отчего она и казалась такой толстой»¹¹¹. Вывод, сделанный повитухами и охотно поддержанный судьями, как нельзя лучше соотносился с религиозной идеей греха: раздувшееся тело скрывало в своих недрах некий дух – несомненно, самого дьявола или кого-то из его демонов, захвативших душу Жанны. Ее-то, с точки зрения судей, и следовало освободить от преступления/греха, а для этого – послать женщину на пытку и истязать ее тело, чтобы изгнать «врага».

«Все происходит так, как будто некое не имеющее формы внутреннее тело устремляется вовнутрь определенной части телесного чехла, имеющего форму. Выражение страсти оказывается прямым выходом из тела внутри тела или, иными словами, противоречивым взаимодействием двух тел внутри одного. При этом внешнее тело имеет очертания, а внутреннее – нет: оно существует в форме некоего невообразимого монстра... Оно поднимается к поверхности и трансцендирует телесный покров»¹¹². Как второе тело представляли себе душу люди Средневековья¹¹³. Эта «материальность» имела определенное значение и при взаимодействии души и плоти, ибо все душевные порывы находили свое отражение в теле человека. Обратная зависимость также оказывалась возможной: влияя на тело, можно было оказать давление и на душу. Физические страдания, претерпеваемые на пытке, являлись для судей безусловным знаком того, что процесс освобождения души от пагубного влияния дьявола, т. е. процесс признания собственной вины идет должным образом. «Телесное» восприятие пыток в средневековом суде было непосредственно связано с процессом «духовного» очищения¹¹⁴.

Но сами обвиняемые далеко не всегда были склонны связывать свои поступки с происками дьявола. Все показания Жанны де Бриг строились на *отрицании* факта продажи собственной души. Мало того, для нее понятия «душа» и «тело», как представляется, были совершенно равнозначны: она не желала отдавать никому, кроме Бога, ни душу, ни тело («ни один из своих членов»). Конечно, Жанна понимала, что это разные вещи, но они для нее были одинаково важны, в ее словах отсутствовало их разделение на «сильное» и «слабое» (в терминологии Вольфганга Шильда).

Как мне представляется, именно через призму *жизненных ценностей* следует рассматривать отношение некоторых средневековых преступников к телу и душе. При жизни человека они считались неразрывно слитыми и имели для него одинаковую ценность. Если он считал себя невиновным, то уже на пытке обращался к Богу, ища у него спасения – спасения не только для души, но и для тела. Об этом свидетельствует анализ лексики, используемой заключенными в моменты наибольших физических страданий. Если довериться регистру Шатле, фор-

¹¹¹ «...ce que elles disoient estre enfant, estoient mauvaises humeurs acumulées ensamble en son corps, par quoy elle estoit ainsi ronde» (RCh, II: 297).

¹¹² Ямпольский М. Жест палача, оратора, актера // Ad Marginem'93. М., 1994. С. 51.

¹¹³ «Каждый человек имеет душу. Она не столько невидимый дух, не-телесность, скорее, это второе тело, которое пребывает в первом» (Dinzelbacher P., Sprandel R. Körper und Seele: Mittelalter // Europäische Mentalitätsgeschichte. S. 167).

¹¹⁴ Такое понимание пыток сближало, как кажется, образ самого суда с образом чистилища. Выше я уже упоминала о существовании возможной параллели между «последним испытанием» преступника в этом мире (казню) и испытаниями, которые ожидали его душу сразу после смерти, в чистилище. Подробнее на эту тему см.: Baschet J. Les conceptions de l'enfer en France au XIVe siècle: imaginaire et pouvoir // AESC. 1985. № 1. P. 185–207; Idem. Les justices de l'au-delà. Les représentations de l'enfer en France et en Italie (XIIIe – XVe siècles). Rome, 1993. Интересным также представляется восприятие тюрьмы как своеобразной «передышки» в судьбе преступника, когда еще не известно, будет ли он признан невиновным или казнен. Так, автор «Кутюмы Бретани» считал, что подозрительных людей следует держать в тюрьме так долго, чтобы они пришли в себя (*reffrediz*), так как суд должен охранять мир и спокойствие в обществе (*tenir le monde en paiz*) (La Très ancienne coutume de Bretagne / Ed. par M. Planiol. P., 1986. Ch. 165). Появляющееся в этом тексте производное от латинского *refrigerium* заставляет вспомнить теорию Тертуллиана о существовании некоего *refrigerium interim* – предшественника настоящего чистилища. Несомненным сходством также отличалась оптимальная стратегия поведения человека, временно попавшего в чистилище, и человека, пребывающего в тюрьме в ожидании, когда решится его судьба. Такую стратегию поведения Жак Ле Гофф называет «войти – пересечь – выйти»: Ле Гофф Ж. Язык жестов Чистилища // Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 161–171.

мулировка клятвы о невиновности, данной на пытке, часто полностью совпадала со словами признания *in extremis*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.